

Ярослав Двуреков

ПУСТЫНЯ



Ярослав Двуреков

ПУСТЫНЯ

«ИП Астапов»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос-Рус) 6

Двуреков Я.

Пустыня / Я. Двуреков — «ИП Астапов», 2018

ISBN 978-5-907051-25-6

Пустыня – это роман о любви и одиночестве, поиске истины и безумии, чудесных случайностях и явлениях неслучайных. Герои, как планеты звездной системы, имеют свои орбиты, но объединены одним центром притяжения – пустыней одиночества. Одни пытаются убежать из неё, другие уверенно движутся вглубь влекущих, но коварных песков. У каждого своя пустыня. Их число – тринадцать (впрочем, это поверхностный подсчёт). Выход из пустыни один – любовь. Это всё, что вам нужно знать для того, чтобы проложить свой путь. Все совпадения характеров героев, их жизненных позиций, целей и средств их достижения, манеры говорить и одеваться, с реально существующими людьми – непреднамеренно и является исключительно статистическим эффектом.

УДК 821.161.1

ББК 84 (2Рос-Рус) 6

ISBN 978-5-907051-25-6

© Двуреков Я., 2018

© ИП Астапов, 2018

Содержание

Вместо пролога	6
Профессор Шустов	8
Татьяна Шустова	20
На пороге	34
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Ярослав Двуреков

ПУСТЫНЯ

*Прорытые временем
Лабиринты
Исчезли.
Пустыня
Осталась.*

*Немолчное сердце —
Источник желаний —
Иссякло.
Пустыня
Осталась.*

*Закатное марево
И поцелуи
Пропали.
Пустыня
Осталась.*

*Умолкло, заглохло,
Остыло, иссякло,
Исчезло.
Пустыня
Осталась.*

Федерико Гарсия Лорка

© Ярослав Двуреков, 2018

* * *

Вместо пролога

(из тетради Августа П)

I:21

Обращаясь к теме устройства мира, мотивов, движущей силы многочисленной стаи, населяющих его «венцов творения», углубляясь в непролазные дебри суждений «любящих мудрость», от запылённых временем и засиженных мухами забвения, далёких греков, закутанных в рваные хитоны и тоги, до обожравшихся галлюциногенами современников, докучающих полубезумным мексиканским старцам, рано или поздно приходишь к потребности понять и описать окружающее самостоятельно и начинаешь свой путь к Истине. Принимаешься составлять нескладную мозаику своих собственных заблуждений, ещё не понимая, что в итоге пути тебя ждёт познание, разочарование и одиночество.

*В долгом пути от радикального Гоббса, заявившего, что человек человеку не менее чем *homo est*, проходя мимо осторожного и хитрого Фромма, балансирующего на грани добра и зла, призывающего некрофилов и копрофагов обратиться в светлую веру всеобщей любви, кивая препарирующему сверхчеловека Ницше, стреляя сигарету у трансцендентального Сартра, собираешь, как тебе кажется, крупницы истины, камни мироздания, но из которых в итоге построишь не храм, а стену.*

Избавившись к заветному окончанию пубертатного периода от роя детских комплексов, уверовав в свою исключительность и неповторимость, юная особь, считая себя уже вполне «сапиенсом», бросается, бурля горячей кровью, «в мир» и на полном ходу врывается в стену, построенную стараниями окружающих.

Трещит неокрепший череп, и проливается первая кровь – восторженный щенок теряет невинность и вместе с ней изрядную долю врождённой наивности и непосредственности, в большинстве случаев пополняет ряды таких-же-как-все соплеменников и присоединяется к упрочению стены.

Немногие, избежавшие этой незавидной, но типичной участи, бьются поодиночке с обратной стороны стены больше из духа противоречия, поскольку её не пробить, а чтобы попасть по эту сторону, стену нужно не ломать, а, напротив, строить. Они могли бы объединить свои бесплодные усилия, но гордость или тщеславие велит им махать своим кайлом-черепом в одиночестве. Но и это объединение было бы безрезультатным. Стена незыблема. Да и зачем её ломать? Чтобы попасть туда, ко всем, к чавкающему стаду ничтожеств? Чтобы открыть им глаза и, подчиняясь светлому душевному порыву, вывести за пределы стены пробитым собственной головой путём? Так ведь не пойдут они с нагретых долгими задами мест, от привычной обстановки, от милой сердцу заплёванной, но нерушимой стены, укрывающей их от... От чего? Не важно. Врагов много. Если вдруг возникает их недостаток – их придумывают или назначают, на то есть правительство, управляемое обществом и условно независимая церковь. А те, бьющие в неподатливый серый камень стены с её обратной, и оттого противозаконной, стороны, продолжают долгий путь развития от лёгкого, как случайный летний насморк, маниакально-депрессивного психоза

до полномасштабной шизофрении или какого-нибудь труднопроизносимого синдрома.

Дальше чернила наполовину смыты (угол тетради пострадал от растаявшего снега сильнее всего) и читается с трудом:

И только очень немногие, и только истинные мудрецы устремляются вдаль от простирающейся во все просторы Стены и после многотрудного перехода достигают пустыни. Пустыня! Место абсолюта...

Профессор Шустов

Я вошёл и прикрыл за собой массивную дверь его кабинета, небольшого, почти квадратного в плане, с камином, истёртым паркетом и лепным потолком. Эта комната казалась перенесённой из другого мира, искусственно и не вполне органично встроенной в дом, фальшивой нотой в общем звучании интерьера. Первое впечатление – дом-музей, пустующий в понедельник и в отсутствие паломников и зевак мистическим образом навещённый мемориальным призраком своего владельца.

Полумрак перегруженной мебелью комнаты, рассеять который бессильны даже всполохи грозы, пробивающие свинцовые облака, но отступающие перед бронёй тяжёлых штор. Туман рассеянного табачного дыма (несмотря на строжайший запрет врачей) приглушает неяркий, нерешительный свет слабосильных, стилизованных под жирандоли, бра в четырёх углах комнаты. Бордовые, почти однотонные, с нечитаемым тиснённым рисунком обои, прочная старинная мебель. Выпадающие из общего стиля светлые акварели на стенах – простенькие пасторали. Массивный, во всю стену, книжный шкаф с мутными от старости стёклами дверей, скрывающих потрёпанные корешки – визитки населяющих этот антикварный пантеон. Дубовый секретер с едва заметными пятнами на крышке, очевидно, случайными кляксами. Письменный прибор на столе – комбинация бронзы и камня, декорация, с высохшим колодцем чернильницы; рядом – несколько книг, неровная стопка исписанных листов (один из них упал на ковёр) и стакан с остатками чая в потемневшем от старости подстаканнике с блестящей ручкой, выдающей частое использование. Лёгкий хрестоматийный «рабочий беспорядок», нарушать который не позволено никому. Комфортный бастион одиночества.

Иван Петрович, казавшийся, в поддержку музейной темы, восковой фигурой – человек в кресле у камина, массивный и прочный центр композиции, центр тяжести этой комнаты и этого дома. Неподвижный, спрессованный временем в единое целое с монолитной обстановкой. Портрет профессора в интерьере гармонично и неотъёмно дополнял казавшийся почти осязаемым недвижимый воздух, пропитанный пряностями каминного угара, книжной пыли и дорогого табака – запахами, призывающими дух меланхолии.

Меня встретили музейная тишина и внимательный холодный взгляд человека, немало повидавшего на своём веку. Повидавшего столько, что хватило бы не на одну непростую жизнь. Взгляд великого мужа, опалённого пламенем мартенов и страстей, достигшего всего, чего пожелал и смог.

Бесстрашный и упорный борец, пусть и потрёпанный беспощадным временем, но сохранивший непреклонный характер и железную волю, закалённую в адовом пламени жизни. Тот, чьё имя до сих пор вызывает у одних – благоговейный трепет, у других – гримасу злобы и зависти, у третьих – вздох сожаления и приступ ностальгии. У меня, стоящего на пороге его кельи, на тот момент внятного и определённого отношения к старику не сложилось. Мысленный портрет профессора, составленный мной со слов его дочери и жены, был похож на схематичный и нечёткий фоторобот из милицейских ориентировок.

Неприятное предчувствие и ощущение тяжести навалились на меня, едва мы встретились глазами. Я глубоко вздохнул, чтобы успокоить дыхание, сбитое волнением и подъёмом по скрипучей деревянной лестнице. Зачем-то пересчитанных мною ступенек было три, шесть и девять, итого – восемнадцать. Я поздоровался и представился. Он молча кивнул в ответ на моё приветствие и неопределённо указал на кресло у стены, или – сразу не поймёшь – установил дистанцию, проведя в воздухе невидимую черту, которую я не должен переступить.

Хозяин кабинета, которого все, даже домашние, называли не иначе как «профессор Шустов», «Иван Петрович» и, безусловно, на «Вы», сидел как на троне, в массивном кресле с высокой спинкой и, не мигая, смотрел на огонь. Языки пламени в догорающем, как и жизнь

профессора, камине перескакивали с одного светящегося уголька на другой, исчезали, испутив дух-дымок, воскресали прирученной стихией, закручивались винтом, тянулись вверх, тщаь преодолеть туннель дымохода, в небо. В кабинете было жарко, камин выплёскивал волны тепла. Но Ивану Петровичу, привыкшему иметь дело с огненной стихией и расплавленным металлом, в обычной обстановке всегда холодно.

Профессор – известный в прошлом специалист по металлам и сплавам, и поэтому, наверное, он походил более на сталевара, чем на классических учёных-«ботаников»: высокий, крепкий и широкоплечий. Прямая, но не напряжённая спина, простые, грубоватые черты лица, квадратный подбородок и крупный нос. Сильные кисти рук сжимают подлокотники кресла, словно взведённая пружина, – знак готовности к действию. Густые, зачёсанные назад, совершенно седые, чуть желтоватые от табака волосы, одна прядь которых привычной непокорной запятой постоянно спадает на лоб, – профессор поднимает её и, приглаживая рукой, какое-то время придерживает, будто фиксирует, завершая движение. Сжатые тонкие губы тронуты лёгкой ухмылкой бесконечно мудрого человека. Его поза – воплощение самоуверенности и вводящей в заблуждение отрешённости, напускного безразличия и надменности – поза Бога. Усиливая этот образ, из-под кустистых бровей прямо и остро, словно излучая невидимые, всепроникающие лучи, смотрят выцветшие серые глаза того, чьё решение в очередной раз определит положение небесных светил, пересечение траекторий судеб и оставит след в истории. Он – Альфа и Омега. Он – всесилен. Он привык всё решать и всё делать сам.

Путь на научный Олимп Иван Петрович начинал в школе рабочей молодёжи при гигантском металлургическом комбинате – «кузнице страны» – в голодные и напряжённые годы после недавно утихшей большой и кровавой войны, поглотившей отца и старшего брата. Работал и учился, после перебрался из цехов в лаборатории, где вскоре создал состав и технологию, опередившие время и надолго обеспечившие техническое и военное превосходство империи в части танковой брони. Это принесло молодому учёному славу и Государственную премию, открыло путь в большую и «настоящую» науку, но взамен надолго сделало его секретным и «невъездным», связанным с Родиной не только любовью к оной, но и множеством подписок о хранении Великой Тайны. Учёный-практик, затем блестящий преподаватель, после эксперт и советник, на каждом поприще внёсший вклад и оставивший след. Долгие годы работавший за честь и за совесть более чем за скромное содержание (плюс небольшая доплата за секретность) и зыбкую научную славу, скупые лучи которой озаряли его лишь в узком кругу посвящённых и таких же засекреченных.

Личная жизнь профессора всегда была на втором плане, вписывалась по остаточному принципу в плотный и напряжённый ритм его жизни. После защиты диссертации, будучи сорокатрёхлетним заведующим кафедрой, Иван Петрович обрёл личное счастье, женился на своей вчерашней лаборантке Оле. Через три года в семье Шустовых родилась дочь. Отцом профессор стал в годы, в которые многие мужчины уже становились дедами.

Пока Иван Петрович укреплял обороноспособность страны и взращивал новое поколение советских учёных, его умница-жена управляла нехитрым хозяйством, создавала уют, заботилась об отдыхе профессора в редкие минуты его покоя. Супруга профессора умела быть тенью и затмить, блеснув изысканными манерами и умом, могла перепечатать на старенькой печатной машинке за ночь несколько десятков страниц его работ, а утром накормить семью завтраком и бежать на свою службу.

Жизнь удалась и уверенно шла торной дорогой успешного провинциального учёного (в столице Иван Петрович провёл несколько лет, но не прижился): своя кафедра, ученики и последователи, учёные советы, публикации и конференции. В пока ещё отдалённой перспективе угадывалась почётная и заслуженная «профессорская» старость: загородный дом, кресло-качалка и клетчатый плед, поправленный заботливой и любящей рукой, мемуары, внуки, книги, послеобеденный сон и награды к очередному юбилею профессора или державы.

Но всё изменилось в одночасье. Страна изменила границы, а государство – флаг и форму собственности. Проникающий сквозь пыльное окно влажный сквозняк, принятый неизбалованным населением за ветер, ветер перемен, ветер свободы и надежды, спутал карты, переключив географическую и политическую, и разрушил оказавшееся не столь прочным устройство всего сущего. Передовую идеологию занесло мелким серым песком первичности материального удовлетворения. Бытие окончательно стало определять сознание. Трехединую теорию классиков, многотомную и тяжеловесную, сменила состоящая в дальнем исконном родстве, простая и безжалостная формула: Т-Д-Т. Высеченные на фасадах и в сердцах, зовущие за собой (предполагалось, что вперёд) лозунги начали вытесняться ярко оформленными рекламными слоганами, обещающими решение более простых и насущных проблем.

Жить стало интересно, но голодно и временами тревожно. А чтобы жить достойно или хотя бы более-менее сносно, стало необходимым торговать. Причем торговать, как выяснилось, можно не только китайской одеждой, турецкой посудой, контрабандными сигаретами или голландским топочным спиртом. В торговый оборот оказались вовлечены фамильные драгоценности: столовое серебро и княжеские титулы; нашли покупателя сознательно разорённые и агонизирующие заводы, банки и рудники, вокзальные туалеты, девичьи тела, ваучеры и акции финансовых пирамид. Первая «Т» в формуле могла быть наполнена всем, на что имелся или мог быть создан обеспеченный спрос.

Молодые и подвижные коллеги Ивана Петровича с комсомольским задором и бесстрашием обречённых быстро сориентировались и, слегка умяв локтями конкурентов, водрузили свой собственный «кооперативный» лоток на шумной и иногда простреливаемой площади базарной экономики. В название учреждённой «фирмы» добавили «научно-производственная», подружились с крепкими и небескорыстными ребятами с физкультурного факультета и начали «делать деньги». В основу бизнеса легло без остатка всё, чем располагали причастившиеся к рынку вчерашние ученики профессора: собственные и накопленные предшественниками знания, результаты работ и сохранившаяся экспериментальная база, опробованные, но не пошедшие в серию технологии и возможность практически даром арендовать один из этажей здания, путём несложной комбинации ампутированного у проектного института по соседству. Профессор не препятствовал попыткам коллег заработать в надежде, что времена изменятся, жизнь вернется к спокойному и правильному течению, а его задача как старшего товарища и мудрого руководителя – сохранить коллектив и научный потенциал до окончания «смутного времени». Заказы непрозрачных западных фирм на разработку технологий литья, которые брали коллеги и проводили по «левым» договорам через кафедру, профессор считал меньшим злом, чем переход младших и старших научных сотрудников на ниву изготовления «фирменных» «варёных» джинсов или «почти настоящего» коньяка, чтобы прокормить свои семьи.

Дела быстро пришли в упадок, выручаемых и на лету обесценивающихся денег едва хватало на скудные зарплаты и аренду офиса. Нужен был «настоящий» товар. А такой был у Ивана Петровича – его теория и практика, знакомства и связи – товар редкий и качественный, а оттого конкурентоспособный.

После долгих уговоров, внутренней борьбы, разочарований и обманчивых надежд на будущее, на неверной и зыбкой почве тех дней Иван Петрович согласился войти в состав совета директоров дружеской «научно-производственной» компании. Его знания, опыт, упорство, работоспособность превратили кое-как связанный из подручного материала плотик полуподпольного, как сейчас сказали бы, «стартапа», в красивый белый пароход со средним дедвейтом, круговым фрахтом и опытным капитаном. А работа в институте стала теперь не источником вдохновения и средств к существованию, а, скорее, приятным хобби.

Годы поисков и экспериментов, громоздкие расчёты и интуитивные прозрения Ивана Петровича Шустова, проверенные в лабораториях, цехах и на полигонах, воплощённые в авторские и коллективные разработки, после нехитрой драпировки их «военного» генезиса и

превращения в коммерческий продукт по достоинству и в твёрдой валюте оценил в прошлом вероятный противник, а ныне – деловой партнёр. Срок свежести большинства секретов истёк, военную тайну страна сама направо и налево выменивала на стеклянные бусы. Формально профессор больше не был связан обязательством хранить тайну и молчание. Таким образом, юридически, хоть и белыми нитками, но сшито всё было крепко. Золото молчания стало просто золотом. Сокровище рассекреченных составов, уникальных сплавов, способов обработки и закалки – вот он, билет в солнечный мир, мир, который, наконец, стал твоим. Технологии производства брони нашли применение в оборудовании для бурения нефтяных скважин и изготовлении кухонных ножей.

Поначалу передача сокровенных знаний казалась ему изменой и вероломством, едва ли не торговлей в мелкую розницу доверенной ему на временное хранение частью Родины. Но Родине в тот час было наплевать, она теряла гораздо большее, чем технологии легирования и секреты направленной кристаллизации металла. Передача знаний и технологий отчасти была жестом отчаяния профессора. Передать хоть что-то, хоть кому-то, пока сокровище нескольких поколений учёных-металлургов и металлургов за ненадобностью не превратилось в пепел и тлен.

Профессор решил спасти результаты работы всей своей жизни, пусть и передав их в чужие руки, считая, что границы и политика только условности эпохи, короткого эпизода в истории человеческого познания.

Сменился век на календаре, Иван Петрович решил понемногу отойти от дел и пожить, наконец, для себя. Его с почётом проводили на покой, назначили пожизненную корпоративную пенсию, своего рода «роялти» с его интеллектуальной собственности, внесённой в уставной фонд. Какое-то время Шустова периодически, по старой памяти, приглашали прочесть одну-две лекции, взглянуть на экспертное заключение или заявку на патент, на особо важные встречи для исполнения представительских функций, иначе говоря, – на роль «свадебного генерала».

Деньги Ивана Петровича превратились в уютный дом с богатой обстановкой, в сытую и, наконец, спокойную и размеренную жизнь, стали машиной и шубой, принесли блаженное незнание цен на продукты, обернулись временем, которое теперь стало возможным тратить исключительно на себя и то, что дорого, – книги, мысли, близких, любимых и то, что бесценно – вдруг взалкавшую вечного душу. Самое время начать новую жизнь. Но тут вероломно, выстрелом в спину, ударил инфаркт. Мучительное выздоровление в течение долгих, заблудившихся, спотыкающихся, перепутавших свои места в строю, дней. Безжалостная, изворотливая боль, изгоняемая лекарствами, но коварно ждущая полного расхода дозы, чтобы вернуться. Воздух, тяжёлый, насыщенный больничными запахами, из которого кто-то неизвестным образом изъясил почти весь кислород и сделал его малопригодным для дыхания. Мелькание видений прошлого, близких, самого себя взглядом как будто извне, мысли, мотыльками летящие на скупой, серый свет, проникающий сквозь прикрытые веки.

А когда всё обошлось, боль инфаркта утихла, врачи выдали длинное и обстоятельное наставление, состоящее из перемежающихся «рекомендовано» и «не рекомендуется», профессор собрался вернуться к прежней жизни. Но вдруг обнаружил, что нет никакой «прежней жизни», что возвращаться никуда и ни к кому не хочется, что он, окружённый семьёй, друзьями, коллегами, партнёрами, врагами и соседями, на самом деле одинок. И что самое страшное, случилось это невероятно давно. Нет, даже не «случилось», поскольку любое «случившееся» событие подразумевает наличие метки времени, зафиксированной, в зависимости от масштаба и последствий, в памяти, судовом журнале или истории человечества. Свершившееся событие имеет и другой обязательный признак – точка деления жизненного устройства или судьбы, спроецированная на течение времени; точка деления на «до» и «после».

Одиночество не случилось, оно всегда было рядом, внутри, но до поры скрывалось, изредка заявляя свои права. Произошло это не вдруг, а медленно и неотвратно прорастало, проявлялось, обретало форму, уплотняло содержание. Осознание сгустившегося одиночества пришло не как озарение, а как воспоминание, как смирение со свершившимся фактом. Впрочем, ничего особенно трагического не произошло.

Зализав раны, профессор окончательно отошёл от дел и укрылся в загородном доме. Осадное положение. Он с увлечением и удовольствием написал пару работ, не нашедших, однако, своего благодарного читателя. Решив, что его время окончательно прошло, Шустов, и раньше не отличавшийся лёгким характером, окончательно превратился в махрового пессимиста и мизантропа.

Иван Петрович ушёл в центр пустыни. Не каждый был готов преодолеть безжизненные пески, чтобы приблизиться к нему. Профессор бежал, чтобы укрыться от более не интересного ему человечества, чтобы остановить время, прожить остаток жизни, занимаясь тем, что важно исключительно для него. После выписки из клиники на короткое время его ослепил страх смерти, но он привык преодолевать трудности и препятствия, быть сильным, опорой и основой, во всём полагаться только на себя, преодолел и тень неизбежного. А после и вовсе убедил себя в том, что смерть – не более чем финальный поступок и последняя его, тяжёлая и ответственная, работа. Иван Петрович был болен. Но не только физический недуг терзал его. Он был болен тем, что превращает жизнь в мучительное доживание, догорание, при котором некогда пылающий костёр уже почти не даёт ни тепла, ни света. Он совершил всё, что мог. И во всём разочаровался. Он утратил смысл жизни, и ничто в этом мире не радовало взгляд, не согревало душу. Кованая ограда особняка стала клеткой.

Он всю жизнь работал на страну, решал глобальные задачи, руководил, учил, наставлял других, почти не оставляя времени себе и душевного тепла самым близким. Семейная жизнь протекала внешне благополучно, взаимное уважение, помощь и участие в делах и проблемах друг друга присутствовали, но были следствием воспитания, привычки и родственных традиций. Но и к домашним вернуться не получилось. Они привыкли обходиться без него так же, как и он без них. Это откровение не прибавило оптимизма профессору, его недуг бурно прогрессировал, замыкая порочный круг всеобщей вины. За собой Иван Петрович вины не признавал. В числе причин его разочарования и замком на двери одиночества стала глубокая душевная рана, нанесённая ему близким человеком. В день моего визита к профессору мне это не было известно, и в моей ситуации незнание одной из тайн профессорской семьи не имело никакого значения. Вся тяжесть сосуществования с ним легла на плечи жены, дочери и немногочисленных друзей. Последних становилось меньше с каждым днём. Люди, ещё вчера составлявшие привычный круг общения, и те, кого он называл близкими, вдруг переменились. Они перестали быть такими, какими должны были быть и были когда-то. Причина этих перемен таилась в пыльных закутках, в просвещённых потёмках профессорской души. Его слабо-выраженная способность любить, понимать и уважать других от долгого простоя полностью атрофировалась. Он старел и не понимал, что больше всего изменяется не мир вокруг него, а он сам. Как следствие – в полку друзей не прибывало. Даже самые стойкие и верные из них всё менее охотно принимали приглашения. Кто-то покидал профессорскую компанию от усталости и утраты интереса, кто-то вовсе покидал наш суетный и несовершенный мир, как принято считать, навсегда.

Вскоре Иван Петрович оказался в заброшенном и потерянном искусственном мире, где покорность его величию стала для окружающих атрибутом жизни, одним из многих, маской, которую надевали при его приближении. Привычка, выработанная с детства, повседневная, автоматическая, как чистить зубы утром и вечером. Со временем домочадцы и редкие посетители стали за глаза называть его «Он», научились воспринимать его затворничество как тяжёлый недуг, поразивший отца семейства. В его присутствии жена и дочь не смели прекословить

или послушаться, потакали причудам профессора, как капризам безнадежно больного. Но после того как за ним закрывалась дубовая дверь кабинета, они, украдкой вздохнув, с облегчением возвращались к жизни обычных людей, состоящей из повседневных хлопот и суеты, приносящей свои радости и огорчения. Жизни, прекрасной своей сиюминутностью, непредсказуемой и удивительной.

Я здесь с тем, чтобы познакомиться, ненадолго нарушив его покой, и попытаться решить одну прикладную задачу не вполне, правда, научного свойства.

– Иван Петрович! Я люблю вашу дочь! И прошу у вас её руки! Я готов на всё ради неё. Я – единственный в этом мире, кто беззаветно предан ей. Если Татьяна станет моей женой, я сделаю всё, чтобы она была счастлива! – я попытался произнести фразу решительно и твёрдо, но горло вдруг перехватило судорогой, и голос получился хриплый и сдавленный. – Я обещаю, что она будет счастлива! Я не пожалею ничего, даже жизни!

Мне казалось, что насыщенная восклицаниями, напыщенная фраза его тронет. Он посмотрел на меня безразлично, не выказав никаких эмоций.

– Что такое счастье? – это были его первые слова за время аудиенции.

Я промок под дождём, пробираясь по запутанным улочкам дачного посёлка, к тому же был изрядно взволнован. Вот он, «Дом Шустова»; который вполне соответствовал описанию, данному моей любезной: «старинное дворянское гнездо под красной черепицей». За ажурной кованой оградой – дом, построенный на века. Огромный кряжистый дуб у ворот казался сложенным из того же красного, потемневшего под дождём кирпича, что и стены особняка. На самом деле этот дом – сравнительно недавно перестроенная дача одного из партийных бонз прошлого века. Впечатляющее размахом и весьма скромное с архитектурной точки зрения строение. Стилизация. Новодел. Однако на ворота просится фамильный герб, и кажется, что сейчас они отворятся, и в непогоду умчится запряжённый четвёркой экипаж. Фотографическая вспышка молнии усилила драматизм этой декорации, а ударивший следом гром театрально, как в плохом триллере, совпал с моментом, когда я взялся за мокрое кольцо калитки.

Отворивший мне дверь короткостриженный старик, окрещённый мною садовником, выслушал мою просьбу немедленно быть представленным профессору Ивану Петровичу Шустову, уточнил, что я без приглашения, поморщился и холодно заметил, что в таком виде он не представит меня даже профессорскому спаниелю. Но выяснив, что я «по личному» и «по рекомендации Татьяны Ивановны», неопределённо пожал плечами, взял у меня дождевик, метнул уничтожающий взгляд на мои заляпанные грязью туфли, велел ждать, пока он доложит хозяйину... и привести себя в порядок.

Слова профессора прозвучали неожиданно и резко.

– Счастье? – я растерялся. Я никогда прежде не задумывался о сущности счастья. Не возникало необходимости обратиться к словам полёт птицы.

– Что лично вы...

– Моё имя Александр.

– Как вы, Александр, понимаете эту категорию – счастье? – он сделал акцент на моём имени, будто пробуя его на слух или что-то припоминая. Остальную часть фразы профессор произнёс монотонно и сухо, как прочитанную множество раз лекцию.

– Это трудно выразить словами, не бывает универсального счастья. Счастье не имеет градаций или дробной части. Оно не может быть полным или вполовину. У каждого своё представление о нём и своё ощущение себя счастливым. Счастье сиюминутно, индивидуально, им нельзя поделиться или взять его взаймы, но часто люди живут чужим счастьем, принимая его за своё. Кто-то счастлив, если есть корка хлеба на завтра, а кому-то для счастья целой вселенной мало. Счастье – понятие абсолютное, но существует множество его производных и суррогатов. Я думаю, что быть счастливым – талант, умение находить крупинцы счастья в окружаю-

щем и бережно хранить их. Возможно, счастливый человек – тот, кто не задумывается о том, счастлив он или нет.

– Достаточно, – огонёк, который едва разгорелся в его глазах, потух, и, как мне показалось, профессор недовольно покачал головой.

Мой развёрнутый и слегка неискренний ответ, видимо, разочаровал Шустова. Вызвал не просчитанный мной и ненужный в данный момент негатив. Без сомнений, профессор, выслушавший тысячи ответов на экзаменах, умеет отделить зёрна от плевел, оценить глубину знания предмета по интонации отвечающего, нащупать границу, за которой недоучка сорвётся в пропасть и отправится на пересдачу. В его власти и столкнуть, и удержать на краю. Не повезло мне с билетом. Общий знаменатель счастья со стариком-профессором мы едва ли вычислим. Да он и сам должен это понимать.

– Итак, вы просите руки моей дочери. Что ж... Когда-то это должно было произойти. Да... А она? Она согласна стать вашей женой? И будет счастлива с вами? – он снова пронзил меня своим колючим взглядом.

– Да! Мы любим друг друга! И хотим до конца дней быть вместе!

– Вы по-юношески категоричны и самонадеянны.

Я не смог уловить по интонации – комплимент это или упрёк. Экзамен продолжается.

– И как давно?

– Что именно? – не понял я. Этот угрюмый старик – мастер задавать дополнительные вопросы.

– Вы... Как давно вы знакомы с моей дочерью?

– Примерно... полгода, – я запнулся, поскольку исчисление срока зависит от точки отсчёта, а в моём случае их две, и между ними – вечность.

– Н-да, полгода, – по его лицу пробежала тень раздражения. Не ясно, что больше расстроило Ивана Петровича – слишком короткое, по его мнению, время знакомства до предполагаемой женитьбы или, напротив, столь длительный период его неведения об амурном увлечении дочери. Скорее – второе. Татьяна всё ещё не просветила старика о моём существовании? Серьёзный укол его отцовскому самолюбию. О причинах умолчания я не стал даже задумываться, сейчас у меня другие задачи, все детали – потом. Но в моём положении, точнее, нашем с Татьяной, этот факт не добавит нам с Иваном Петровичем взаимопонимания. Что ж, профессор сам виноват, семейный диктатор затмил в нём чуткого родителя.

– Но, как вам должно быть известно... – он замолк, прикрыл глаза и продолжил после долгой паузы, изменив интонацию: – Девочки, – он осёкся, – Татьяна с матерью, в отъезде и будут не ранее, чем через две недели, – он внешне расслабился, как человек, принявший решение, готовый к ответному ходу после лёгкого замешательства, и скрестил руки на груди.

Старик не прост, – подумал я. Он хотел сообщить о другом, поскольку факт отсутствия Татьяны мне очевиден без его напоминаний. Что мне должно быть известно? Чего я не знаю? «Девочки»? Профессор не такой уж конченный сухарь и зануда. За окном ударил затяжной раскат грома. Окна за моей спиной ответили дребезжащим резонансом.

– Я пришёл, чтобы заявить о моих, смею вас заверить, весьма серьёзных намерениях. Я надеюсь получить у вас одобрение и поддержку. По возвращении Татьяны и Ольги Николаевны я приду, чтобы повторить свою просьбу в присутствии всех вас.

– Да, конечно. Но сейчас вы хотите получить именно моё решение, остальные, видимо, уже высказались по этому вопросу?

Я утвердительно кивнул. Что я мог ответить? О моём визите и его цели ни Татьяна, ни тем более её мама ничего не знают. Ещё вчера утром я и предположить не мог, где и с какой миссией мне сегодня придётся побывать. Шансы на успех знакомства и благоприятный исход беседы с Иваном Петровичем были и пока ещё оставались невысокими. Но вариантов у меня нет. Ждать возвращения Татьяны я не могу, я сойду с ума раньше. Дополнительное время на

подготовку мне также не требуется, и отсрочка ничего не изменит, всё, что могло произойти, уже свершилось. И я должен действовать. Результат нашей встречи определит мою жизнь на ближайшие сто лет. А с мамой, Ольгой Николаевной, я познакомился пару месяцев назад, и нежной дружбы между нами не возникло.

– А чем вы занимаетесь в жизни? Кто вы? – спросил он.

Пока всё шло почти по плану, составленному мной безумной и бессонной ночью накануне. К таким вопросам я готов.

– Я руковожу отделом управления проектами. В международной консалтинговой компании. В основном занимаюсь взаимодействием с клиентом, планированием и организацией работы, оптимизацией использования ресурсов, – продекламировал я преамбулу должностной инструкции.

– И что же вы организуете?

– Строительный надзор, сопровождение проектов, внедрение международных стандартов. И ещё наша компания занимается локализацией и продажей программного обеспечения.

– Стандарты – это хорошо, – похвалил он. – А о чём стандарты-то?

– Разные. Системы проектного менеджмента, управление качеством, эйч ар¹. Кроме того, готовим аутентичные переводы, выпускаем руководства и комментированные нашими юристами сборники стандартов и правил.

– Переводы?

– Да. Это тоже.

– Что ж, это тоже хорошо, – он словно поддразнивал. – Стало быть, языки знаете. Так чего вы там переводите?

– Руководящие документы, рекомендации, директивы – еэсовские и айсовские.²

– И что же дают эти ваши, как там, эсэсовские стандарты? – старику, как мне показалось, на самом деле безразлично, что и кому они дают, и, кроме того, он намерено исказил аббревиатуры, которые ему также должны быть известны, с тем, чтобы выказать своё отношение к моей профессиональной деятельности. Люди старшего поколения часто негативно относятся к подобного рода работе, считая консалтинг получением денег из воздуха и лукавством. Если я правильно расслышал презрительные нотки в тоне профессора, то сейчас прозвучит: «Синекура», или что-то вроде. Что ж, увы, не всем достаются героические профессии...

– В смысле пользы? – продолжал профессор после небольшой паузы, очень точно уловив момент, когда я собрался ответить. Он не то чтобы перебил меня, он твёрдой рукой держал разговор в заданном им темпе и русле. Он ясно демонстрировал, кто здесь главный. Это доставляло ему удовольствие. Стариковское тщеславие.

– Они позволяют снизить затраты и получить дополнительную прибыль за счёт оптимизации бизнес-процессов и чёткой регламентации организационных и производственных процедур, – ответил я, несколько не рассчитывая быть понятым.

– А точнее? – он продолжил тему, при этом из голоса исчез сарказм и появилась интонация, обозначающая живой интерес. Я купился: как ответственный родитель он же должен составить представление об общественной полезности своего потенциального зятя, надёжности добываемого им куска хлеба и коэффициенте пропорциональности этого куска общему объёму ВВП.

– В смысле пользы – мы помогаем нашим клиентам найти возможности для улучшения деятельности, оптимизировать их бизнес, что благотворно сказывается на прибыли и возврате инвестиций. Доволен заказчик, при хорошем раскладе удовлетворены акционеры и всегда – мы.

¹ HR (Human resources) – управление персоналом.

² От EC – евросоюз и ISO (International Standard Organization).

– Продажная девка империализма вся эта ваша оптимизация, – он поморщился. – А платят-то хорошо? – поддельный интерес к моей деятельности сменился на практическую заинтересованность её результатами.

– Да. Достойно. Я, конечно, не олигарх, но не бедствую, – я подумал, что нужна конкретика, для того чтобы Иван Петрович не подумал, что я буду претендовать на приданое в размере полу-царства, изрядное содержание или иную долю его имущества. – Я приехал сюда три года назад. С двумя дорожными сумками. За это время обосновался, купил квартиру, машину, – при этом я не стал утомлять старика подробностями того, что квартира станет моей только в отдалённом будущем, после полной выплаты кредита, процентов и комиссий, а машина, в общем, не первой свежести и уже второй раз за два последних месяца в ремонте, в связи с чем я добирался сюда пешим порядком от остановки электрички.

– Ну вот, и платят достойно, и современно, и пуп не сорвёшь. Ученье – свет! – профессор закурил тонкую сигару и протянул мне небольшую деревянную коробочку. – Курите?

Я кивнул и угостился.

– Придвиньте кресло и присаживайтесь, я же вам сразу сказал, – он снова указал на кресло.

Я уселся рядом. Пауза. Трубка мира. Какое-то время мы сосредоточенно молчали. Не знаю, о чём думал Иван Петрович, лицо его было напряжено, он машинально следил глазами за струйкой сигарного дыма, но не видел её. Как, впрочем, и всего остального в этой комнате. Я сознательно поставил кресло сбоку от него, чтобы избежать его тяжёлого прямого взгляда. Я подумал, что теперь мы можем говорить, глядя на огонь в камине. Это придаст нашей беседе более спокойное и приятное, дружеское, да чего там, – родственное течение. Ещё я подумал, что кресло на самом деле предложено только сейчас. И сокращение дистанции – искомый мной результат. Я расслабился, сочтя дело сделанным. К тому же я, кажется, подобрал ключ к нашему диалогу, точнее, к методу профессора управлять беседой, поддерживая напряжение, меняя темы, возвращаясь к уже сказанному. Иван Петрович, безусловно, мастер своего дела и слова. Я даже подумал, что тренинги, на которых я выработывал навыки ведения переговоров, захвата и удержания внимания собеседника, все эти псевдонаучные штучки, НЛП³, советы психологов не мешало бы дополнить мастер-классом от профессора Шустова.

Итак, я принял его игру. И принял её (сигара сладгла и отдавала вишнёвой косточкой) на равных. Хотя в мои задачи не входит разгром противника, а лишь установление дипломатических отношений, я считал, что, тем не менее, должен проявить себя достойно во всех ипостасях мужчины: мужа, отца, надёжного и верного товарища, воина, добытчика, поэта и философа (и во здравии, и в болезни). Задача-максимум – понравиться и добиться расположения, минимум – заставить считаться с самим фактом моего существования и моим намерением стать (я сам до конца не определился со своим отношением к этому) е-дин-ствен-ным мужчиной в жизни его е-дин-ствен-ной дочери. Уф!

Какой забавный болванчик на каминной полке! Какой-нибудь японский божок. Потри тридцать три раза ему брюшко – и будет тебе счастье. Я ещё раз осмотрел кабинет, ослабил петлю галстука, расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и тут же почувствовал холодную, пронзающую сталь его глаз. Рано я расслабился. Будь я разведчиком, в этот момент мне пришлось бы раскусить капсулу со вкусом миндаля.

Он повернулся в кресле (моя уловка не возымела действия) и снова смотрел на меня почти в упор. Профессор вновь атаковал.

– Вы сказали, что за счастье моей дочери готовы отдать жизнь, – однако не смогли точно сформулировать, что для вас, лично для вас, есть счастье, – его взгляд разможил мне мозг-чок. – Убеждаете в серьёзности своих намерений, но разве это серьёзно для взрослого мужчины

³ Нейро-лингвистическое программирование.

– жизнь за счастье? За нечто эфемерное и практически не существующее вы предлагаете свою жизнь. Счастье – это всего лишь миг, вспышка, а вы готовы поставить вечность вашей жизни против мгновения. При этом понимание счастья возникает, заметьте, не в момент наступления, а спустя некоторое время после его утраты. Иногда на склоне дней понимаешь, что единственный раз в жизни был счастлив, в далёкой юности, когда рано утром... Впрочем, к делу это не относится. Вы пытаетесь меня обмануть, или действительно так считаете? – поскольку в этом вопросе риторики не меньше, чем в вопросе о сущности счастья, он не стал ломать ритм, снижать темп произносимых фраз и делать паузу для моего неготового ответа. – Итак, вы азартный человек и готовы сыграть в игру? Вы... Э-э... Как там?

– Александр, – подсказал я.

– Да, Александр... Не бойтесь проиграть?

– Нет! – ответил я без комментариев.

– И правила вам известны?

– В общих чертах, – я сразу не нашёл, что ответить. Нападение профессора выбило меня из колеи. Этот неприветливый тип даже не извинился за свое хамское «Э... Как там?» А ведь старикан, возможно, совсем скоро станет моим родственником, father in law⁴. Назвать его по-русски «тестем» даже мысленно пока как-то не получилось. Татьяна предупреждала меня о причудах Шустова, но, как и к чему бы я ни готовился, предугадать дальнейшее направление нашей милой беседы не мог. Я придумал текст, набор выпенностей (правда, смахивало это на дешёвый фарс в самодеятельной постановке сельского клуба), надел парадную, дорогую рубашку, костюм и галстук, смертельно надоевшие на работе, отрепетировал строгое и решительное выражение лица и... и, похоже, не угадал.

– Насколько серьёзно вы относитесь к тому, о чём говорили? – в его глазах как будто снова разгорелись огоньки. Холодные и недобрые.

– Предельно...

– Это слова. Причём не самые убедительные из тех, что мне приходилось слышать в жизни. А я, уж поверьте, послушал... Ребячество... Игра... Сделаем так: заключим с вами мужское соглашение. В обмен на ваше Слово (он так и произнёс, с большой буквы) я пообещаю поддержку и согласие на ваш брак. Слово ваше мы обратим в документ.

– Расписку? – я удивился. «Тебе, педанту, значит, нужен чек, и веры не внушает человек?»⁵ – промелькнуло в моих не вполне ясных мыслях, не поручусь за точность цитаты, но, кажется, как-то так. Вот старый зануда! Загоняет в ловушку? Пытается поймать меня на слове? Взять на «слабо»? Выяснить, как далеко я способен зайти в своём упорстве? Не выйдет! Расписку – так расписку! Тем более счастье и любовь Татьяны стоят жизни. И смерти. От волнения «высокий штиль» лексических упражнений, приготовленных для старика, проник и в мои спутанные мысли.

– Назовите это распиской, если угодно, – он пристально посмотрел на меня.

Только его глаза – единственное, что жило на этом мёртвом лице.

– Давайте бумагу! – я испытывал странное чувство. При полнейшем абсурде происходящего меня охватило страстное желание написать этому сумасшедшему какую угодно расписку, продать душу или раскроить череп, лишь бы избавиться от странного оцепенения и безволия, охвативших меня. Да и мои, точнее, наши с Татьяной обстоятельства не позволяют мне перечить профессору.

Он продиктовал текст, я покорно всё записал. Эпистола вышла достойная, не лишённая поэтического начала (повеяло плесневелыми рыцарскими балладами), будто профессор сочинил текст заранее и продумал каждое из двух с небольшим десятков слов. Плотная, цвета

⁴ Тесть (англ.).

⁵ И.В. Гёте, «Фауст».

тростникового сахара, веленевая бумага, извлечённая профессором из глубин секретера, казалась такой же нарочитой, как и свеженачертанный на ней текст и всё здесь происходящее. Театральный эффект. Бумага, как известно, всё стерпит. А человек и подавно. Иван Петрович внимательно прочёл текст, прищурился, отставив лист на расстояние вытянутой руки; не обнаружив ошибок, удовлетворённо кивнул и протянул мне: «Подпишите». Я снова взял его дорогую перьевую ручку, но он с ухмылкой покачал головой: «Такие документы чернилами не подписывают, как там у классика?»

«Совсем из ума выжил старик! Мефистофельщина какая-то!» – я почувствовал что-то вроде прояснения, но он не дал мне опомниться.

– Вид собственной крови вас не пугает?

– Нет! Ни собственной, ни чужой! – я соврал и слабо улыбнулся.

Он медленно, явно растягивая удовольствие, достал небольшой кожаный несессер и под моим нервным взглядом вынул из него и протянул мне незнакомый предмет, похожий на недоуговую шариковую ручку.

– Что это? – я вдруг подумал, что, может быть, всё ещё обойдётся. Я ожидал увидеть нож или, на худой конец, булавку (обязательно с брильянтом).

– Это ланцет, для глюкометра, это такой прибор, впрочем, не важно. Ланцет стерильный, не беспокойтесь. Знаете, что это такое? Это, – продолжил он назидательно в ответ на моё немое «нет», – специальное устройство, которое позволит нам закончить начатое. Я взведу пружину, вы – приставите к пальцу и нажмёте вот сюда, – он показал на крохотную белую кнопку. – Это не смертельно. Немного неприятно. Но, думаю, того стоит? А потом достаточно просто приложить палец к бумаге. «Кровь, надо знать, совсем особый сок⁶» – профессор как будто прочитал мои мысли. Старик не был предупреждён о моём приходе, стало быть, эту ситуацию он проиграл задолго до сегодняшнего дня? Эхо секретного прошлого? Или всё это a vista⁷? И текст, и мерило ценности моего слова – ланцет?

– Если хотите, там, – он указал рукой шкаф в углу комнаты, – есть коньяк, можете налить себе.

– Нет, спасибо, не сейчас.

– Это бы заняло несколько мгновений, шанс ещё раз подумать, секунды, которые могли бы изменить вашу жизнь. Не берусь судить, во благо или зло.

Коньяк предложен «для храбрости», чтобы я не отступил от задуманного? Или это как бокал вина перед гильотиной? Смысл собственноручно начертанных мною слов, заведомо невыполнимое обязательство предполагало, скорее, второе. Я всё ждал, что наше безумное действие закончится, будет остановлено профессором в последний момент, который уже настал, превратившись в сыгранную неудачную (ну, или, скажем так, своеобразную) шутку Ивана Петровича. Я нащупал кнопку на ланцете. Профессор кивнул, не сводя с меня своего колючего взгляда.

Вскоре с весьма необычными формальностями было покончено. Я поставил раскровленным пальцем крест вместо подписи, профессор убрал инструмент и свидетельство нашего сговора. Сразу стало легче, несмотря на лёгкое головокружение (вид крови мне неприятен). Я расслабился.

– Я надеюсь, всё, что здесь произошло, останется в тайне? Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь... – начал я.

– Безусловно, в тайне. Я надеюсь – навсегда. Я тоже очень не хочу, чтобы об этом документе мне или моим душеприказчикам пришлось вам напомнить. Живите долго и счастливо, но помните о нашем договоре.

⁶ И.В. Гёте, «Фауст».

⁷ С листа (итал.) – музыкальный термин, означающий исполнение произведения без подготовки.

– У меня складывается впечатление, что счастье и благополучие вашей дочери вас не очень-то волнуют.

– Я знаю свою дочь. Она хорошо разбирается в людях. Она сделала свой выбор и не передумает. И я не смогу и не стану пытаться изменять её отношения к вам, хотел бы я того или нет. Я не буду препятствовать её решению. Но, заметьте, мне оно пока не известно. У меня теперь есть ваше обязательство. И я, при необходимости, взыщу... Кроме того, не сочтите за комплимент, вы мне чем-то нравитесь. Я хочу сказать – не худший вариант, – поправился он, видимо, чтобы у меня не осталось иллюзий по поводу его неловкого, но тем не менее комплимента. Он замолчал. Я решил, что свою задачу выполнил, и собрался немедленно покинуть эту обитель дьявола. Но, пока я мучительно собирал иссякающий запас напыщенностей для реванша, для финальной фразы – мне хотелось сделать её эффектной и оставить последнее слово за собой – он, глядя снова на пламя в камине, добавил, словно обращаясь не ко мне, а по-стариковски брюзжа и разговаривая исключительно сам с собой: «Бери, люби и береги её. Умей отдавать и принимать любовь. Пойми мою дочь как себя самого. Стань для неё всем. Научись быть и мужем, и братом, повелителем и бессловесной тенью. Будь мужчиной, достойным её любви. И помни, что главную клятву в твоей жизни ты должен дать ей, и только... А теперь иди». Он неожиданно встал и протянул мне руку. Крепкое рукопожатие сталевара. Старик задержал мою руку в своей и посмотрел мне в глаза. Я, не мигая, принял его взгляд. Его лицо вблизи казалось старее: глубокие морщины, синие вены под коричневым пергаментом тонкой старческой кожи, пигментные пятна на лбу и висках, и усталость, и смертельная тоска в глазах. Он неожиданно отвёл глаза и, мне показалось, едва заметно ссутулился, опустил плечи, отчего сразу как будто стал меньше ростом.

– Ну всё, приём окончен. Мы оба сказали друг другу всё, что должны были. Ступай. И знай: я её очень люблю. Больше жизни. Я никого и никогда так не любил. Татьяна – самое дорогое, что у меня есть. Единственное, что у меня осталось. Ты сам это поймёшь. Позже. Когда будешь... как я, – он вытянул вперёд руку и кистью, царским жестом, указал мне на дверь. – Иди... На самое существенное откровение я не решился. Посчитал, что вопрос улажен, и последний, а на самом деле, первый и самый веский аргумент не потребовался. Время покажет. Закрывая тяжёлую дубовую дверь этой кельи, я невольно взглянул на старика – он стоял ко мне спиной, опустив голову. Я закрыл дверь, чтобы никогда больше не открыть её.

Вот так впервые в жизни я пролил кровь за любимую. На улице, финальной декорацией этого плохого спектакля, где мне досталась роль, которую я ни за что не хотел бы сыграть ещё хотя бы раз, в щедро омытом дождём, прозрачном небе, меня встретил ясный (символизирующий хэппи энд) оранжевый закат. Занавес! Браво, профессор!

И не хочется думать, что скоро осень. Кончится последнее беззаботное и свободное лето в моей жизни. Я добился профессорского «да». Добился того, чего хотел? Прочь, сомненья, прочь. Август – моё время. В августе в мою жизнь часто входит что-то новое.

Татьяна Шустова

На самом деле Татьяна вошла в мою жизнь почти пять лет назад. Ворвалась, как резкий и неожиданный порыв свежего ветра. Вбежала в фойе университета, громко хлопнула дверью, едва не сшибла меня с ног и спросила: «Где читает профессор Шустов?» В неё нельзя было не влюбиться с первого же взгляда! Она была восхитительна: голубые бездонные глаза, волна светло-русых волос, милое, чуть покрасневшее от бега лицо. Стройная и гибкая, она, подобно пущенной стреле, с быстротой молнии разила в самое сердце. В каждом её движении было столько энергии и в то же время плавности и девичьей грации, что я, опешив от натиска сего прелестного создания, запнувшись, ответил, что не знаю, но могу уточнить по расписанию, и готов немедленно проводить. Но в ответ получил лишь короткое: «Спасибо, не беспокойтесь». Через мгновение этот ангел растворился в толпе студентов, в пересечении десятков восторженных взглядов: «Внучка Шустова?» – «Нет, это его дочь, Татьяна» «Любопытно, что у этого мрачного типа такая симпатичная дочь», – пролетело в толпе.

Татьяна Шустова. Я пропал! Напрасно я до вечера топтался на крыльце в надежде увидеть её ещё раз, она так и не появилась. Исчезла без следа. Профессор читал какой-то специальный факультативный курс и вскоре уехал куда-то в провинцию. На что я надеялся и на что рассчитывал – сам не знаю. Но увидеть её ещё раз стало навязчивой, бесплодной идеей.

Полгода назад я неожиданно встретил Татьяну во время одной из множества моих бесконечных служебных поездок, в аэропорту. Из-за нелётной погоды мой самолёт на полпути развернули и посадили в заштатном городке, во глубине нашей необъятной Родины. Когда я выбрался в здание аэровокзала, выяснилось, что в такой же ситуации оказались пассажиры ещё нескольких рейсов, причём как прямых, так и обратных, видимо, по причине какой-то редкой природной аномалии, тотальной непогоды, охватившей, по меньшей мере, половину континента. Нас высадили «по метеоусловиям» и, неуверенно пообещав вылет через два часа, предоставили самим себе, точнее, передали в цепкие лапы ненавязчивого местного сервиса. При этом погода портилась на глазах, и возникали сомнения, что мы выберемся отсюда до весны.

Аэропорт находился в чистом поле, до города – минут сорок на автобусе, но ехать туда, в общем, незачем. Беглый осмотр архаичного аэровокзала не добавил хорошего настроения. Заурядное строение наивной исчезнувшей эпохи. И дело даже не в архитектурных решениях, стилистике однообразных типовых построек, бережно сохранённых вследствие отсутствия ремонта и реконструкции, а в самом духе сооружения. Состарившийся и отставший от жизни дух этого чертога носился гулким эхом под сводами неуютного здания, передразнивал объявления диспетчера по радио и громкие звуки разной природы, производимые пассажирами. Здание освещалось люминесцентными лампами, с пожелтевшими и заляпанными побелкой плафонами, и мутным, болезненно-серым светом с улицы, пробившимся сквозь грязные, в потёках и разводах окна. Тоска, граничащая с глухим раздражением. Но злиться из-за, в конечном счёте, непогоды – глупо. Ещё одним неприятным сюрпризом стало то, что мобильная связь не работала. Единственным средством коммуникации с внешним миром были таксофоны, для звонка с которых нужны специальные восьмиугольные жетоны. Но и наличие жетона (я купил несколько штук) не гарантировало соединения.

После того как истекли обещанные два часа и вылет снова отложили, я отправился дышать воздухом и знакомиться с провинциальными достопримечательностями. Но причуды погоды, злая колючая метель и скудный пейзаж не слишком располагают к праздным прогулкам, так что занятие это мне быстро наскучило; я утолил свою потребность в холодном воздухе и хождении по сугробам, промочил ноги и отправился пить кофе в ресторан на втором этаже.

За окнами во всю стену – бесконечное заснеженное лётное поле и неподвижные самолёты, поставленные в ряд, как сонные лошади в стойло. Даже машины, расчищавшие от снега взлётные полосы, признали своё поражение перед стихией и исчезли из виду. Унылая картина. Метель усилилась, солнце растворилось в облачной пелене. Сумрачно и неуютно. Надежда выбраться из этой западни таяла, как кусок рафинада на дне кофейной чашки. Я стал думать, что больше не люблю самолёты и впредь буду преодолевать пространства под стук колёс. Медленно, но верно. И тут же поймал себя на том, что это всего лишь пустая фантазия, вызванная непогодой и желанием забраться под одеяло на верхней полке пустого купе и, наконец, выспаться. Но для меня это непозволительная роскошь: четыре часа перелёта – это трое суток в шатком и гулком вагоне. Три дня, потраченные менеджером на дорогу в один конец, нанесут весомый ущерб производительности труда и прибыли акционеров, что, в свою очередь, не лучшим образом скажется на бонусе упомянутого выше наёмного работника, то есть меня.

Я закурил, заказал ещё кофе и стал ждать, глядя на сизую струйку сигаретного дыма. Постепенно окружающий мир потерял очертания и цвет, стал мутным и расплывчатым. Остались только дешёвая фарфоровая пепельница с аэрофлотовским вензелем, тлеющая сигарета и полупустая чашка холодного кофе на некогда белой скатерти. Натюрморт. Попытка использовать паузу, относительную тишину и одиночество, чтобы предаться размышлениям, не удалась. Думать ни о чём не хотелось. Понимание, что не выбраться и ничего не изменить, как метелью, замело мысли безвольной, сонной пеленой.

– Можно? – некто подошёл к моему столику.

– Пожалуйста, – ответил я машинально и тут же пожалел об этом. Поднял глаза. Окружающая действительность снова приняла мучительно чёткие очертания. У меня появился сосед, такой же неудачливый путешественник. Рослый, богатырского телосложения, но, скорее всего, добряк и балагур, и, наверняка, мой ровесник.

– Застряли мы, похоже, надолго. Кофе, пожалуйста! – он сделал заказ, не теряя времени.

– Очевидно, – я жалел об утраченном одиночестве и не собирался поддерживать неизбежную беседу.

– Часто летаете? – он попытался продолжить диалог в надежде скоротать время за пустым разговором.

– Приходится, – мои ленивые односложные ответы должны были дать ему понять, что из меня едва ли выйдет приятный собеседник.

– Я вот на родину, – он не отреагировал на мою холодность, – а вы?

– По службе.

– «По службе» – значит, что вы военный? – он посмотрел на меня внимательно, изучающе.

Я счёл это, как минимум, нахальством, а то и вызовом. Он оценил моё настроение и, чтобы замаскировать свой откровенный взгляд, несколько секунд рассеянно смотрел в окно. Хотя пейзаж там не менялся последние лет сто и вряд ли изменится в ближайшие двести.

– Нет, это я так, фигурально... Я – гражданский. Командировочный.

– У вас располагающая внешность, вы человек с виду мягкий, но в вас чувствуется стержень, целеустремлённость; есть сила воли и верность своим убеждениям. Всё это и ваше «по службе»... я и подумал, что вы – военный. Хотя теперь я вижу, что это не так. Вы неглупый человек, но, скорее всего, склонны расплыться, вы легко загораетесь, но тяжело справляетесь с рутинной, в вас есть и типичная интеллигентская леность, и некоторая непоследовательность, и толика эгоизма, но, в целом, вы добрый и надёжный человек.

«Какой наблюдательный...» – подумал я не без сарказма. Три фразы и беглый взгляд – и готов психологический портрет первого встречного? Аккуратный, ненавязчивый комплимент, и собеседник – твой. Здоровяк обучен устанавливать коммуникации и располагать к себе людей, но я всё ещё был раздражён его появлением и участием в эпизоде, который, как я наде-

юсь, скоро закончится и не оставит в памяти своих снежных следов. Я пропустил слова моего визави мимо ушей и подумал, что он, может быть, из какой-нибудь секты, там учат окучивать зевак по методикам внешней разведки.

Он замолчал, словно собираясь с мыслями. Всё ясно, сейчас начнёт: «А вы читаете Библию?»

Однако он вовсе не собирался осыпать меня комплиментами или вербовать в секту, а продолжил свои наблюдения вслух: «Вы – как это сейчас называют – «менеджер», так?» «Менеджер» прозвучало слегка (впрочем, справедливо) пренебрежительно. Я кивнул и подумал, что такого рода наблюдения ничего не стоят: я обозначил себя гражданским командированным, костюм, рубашка, галстук и кейс хорошей тонкой кожи – явно не атрибуты нефтяников-вахтовиков, равно как и людей творческих профессий, туристов и иных пассажиров, остаётся что? – правильно, «менеджер». Вот и вся история с географией. Под определение «менеджер» можно подвести треть работоспособного населения планеты.

– Вы очень занятой человек и сейчас нервничаете, – он снова смотрел мне в глаза, как будто проникая в сознание помимо моей воли. – Вы очень напряжены и неважно себя чувствуете, из-за того что вынуждены бездействовать и не можете управлять ситуацией. Расслабьтесь! У вас подрагивают руки и взгляд уставший, и я знаю, что вы мне сейчас скажете, – тон его изменился. Он говорил тихо и даже как-то ласково, как сказывают сказку или учат уму-разуму ребёнка. – Не сердитесь и простите, если вас это задевает. Профессиональная привычка... Никак не могу избавиться от подобных наблюдений. Не сжимайте кулаки, вам ничего не угрожает. Хотите, сменим тему?

«Задевает?! Меня успокаивают, как глупого малыша, и объясняют, в чём моя проблема! Да, я устал и хочу скорее покинуть этот Богом забытый город. Да, я нервничаю, потому что теряю время. Но это никого не касается. Тоже мне, доктор Юнг. Карл Густавович! Я не ищу участия или срочной психологической помощи. Никого не трогаю, никому не мешаю. Потому и сижу один в почти пустом ресторане», – я начал раздражаться и едва сдержался, чтобы не вспылить и не высказать это в лицо.

– Я врач, правда, бывший, – он как будто прочитал мои мысли и, словно оправдываясь, виновато взглянул на меня. – Психиатр... Ушёл из клиники... Главный отправил в отпуск. Я неплохой, как говорят, доктор, считаюсь подающим надежды. Но я взял расчёт. Может быть, подамся куда-нибудь в деревню фельдшерить.

– Что так? – я пытался сохранить дистанцию и не переходя зыбкой грани минимально необходимой любезности, тем не менее, не лить воду на мельницу обычных дорожно-ресторанных разговоров.

– У меня умер больной. Покончил с собой. Недосмотрели мы... Я недосмотрел. После этого я ещё два месяца приходил в клинику, но работать толком не мог. И ушёл. Не подумайте, я не слабак и не трус. Не идеалист. Я понимал, на что иду, когда поступал в медицинский и после, при выборе специализации. Я знаю, что большинство психических заболеваний полностью неизлечимы. Я могу видеть страдания и, не впадая в депрессию и сантименты, стараться облегчить их, помочь любому. Вот только встретить смерть пациента оказался не готов.

– Я думал, у врачей стойкий иммунитет к подобным случаям, – я закурил и посмотрел ему в глаза.

Он без труда выдержал мой долгий взгляд и ответил: «Я тоже».

Принесли кофе. Я чуть расслабился, но ситуация по-прежнему напрягала. Не хватало мне ещё заделаться практикующим психоаналитиком и начать врачевать израненные души... Э... не самых успешных психиатров. Я начал злиться, что позволил разговаривать себя незнакомцу, пусть и специалисту в этой области. Единственное, что его извиняло – это его вид, растерянный и беззащитный при внушительной внешности. Меня ничто не извиняло. Я попытался вернуть

уходящее раздражение, чтобы без печали избавиться от доктора, изгнать его или уйти самому. Не вышло.

– Меня зовут Андрей Волков.

Я кивнул: «Угу, очень приятно. Меня – Александр. Можно Алекс».

– А его – Август Второй⁸.

– Кого? – я оглянулся, следуя направлению его взгляда. Но за моей спиной была только выкрашенная светлой краской стена ресторана.

– Моего пациента. Интересный был человек, музыкант. Многогранная личность. Какой-то стремительный и лёгкий, что ли. Светлый. Сочинял музыку: то ли поп-арт, то ли пост-рок – в общем, что-то электронное. Я в этом ничего не понимаю. Писал инструментальные пьесы, участвовал в качестве композитора в хореографических постановках. Собирался написать книгу – я видел несколько набросков, любопытно. Потом он запил, хотя с алкоголем всё быстро уладилось; много работал, плюс какие-то неурядицы в личной жизни, вновь обретенная и вновь утраченная навсегда первая любовь. Был в его жизни ещё какой-то мистический старик, разгонявший злых духов и оберегающий наш мир. В общем, яркая, но короткая жизнь, прерванная безумным поступком при попустительстве врачей. Когда-нибудь и, может быть, в приступе графомании изложу эту историю на бумаге, если к мемуарному возрасту сам не выживу из ума... Считается, что абсолютно здоровых людей не бывает, особенно в нашей области... – он вздохнул и умолк.

– Понятно...

Я умолчал о том, что о жизни творческих (или считающих себя таковыми) людей я немного осведомлён. Действительное или мнимое безумие, надрыв, резкие движения, красивые жесты, эпатаж, гипертрофированный индивидуализм – элементы модус вивенди этого общества. Иногда игра в безумца в сочетании с препаратами и практиками расширения сознания приводят к неожиданному, но вполне логичному результату: после многократных «расширений» сознание сужается, схлопывается, и безумие из игры становится реальностью.

– У Августа была навязчивая идея. Он всё искал способ уйти от контроля, прятался от кого-то, преследовавшего его. Искал какую-то дверь. Он вообще был одержим идеей дверей. В одни нужно входить, другие – не запирать. Панически боялся воды, особенно незадолго до... гибели.

– И что, он нашёл свою дверь?

– Он не был карикатурным клиническим идиотом, косматым, мычащим и пускающим слюни, и не мнил себя Наполеоном. Он искал, как и все мы, ответы на вечные и, в общем, простые вопросы: для чего и как мы живём? куда идём, и каков путь, ведущий к истине? что есть эта самая истина? где граница правды и лжи? – старался найти первородную, первоначальную суть вещей и явлений, составляющих наш мир. Но в итоге ушёл совсем в другом направлении. Символическую дверь ищут все, каждый – свою. Одним нужна дверь, чтобы открыть её, другим – чтобы укрыться за ней.

– Да, простые вопросы, повседневные, можно сказать... – я скрыл улыбку, отхлебнув остывшего кофе.

– Не разделяю вашего сарказма, так или иначе об этом задумываются все. Рано или поздно. А ответы очень просты. Они просты, как солнечный свет, как капля воды или крик птицы, но лежат в иной плоскости. Август слишком углубился в детали и точки зрения на предмет, пошёл по кругу, потеряв конечную цель, сделал сам поиск смыслом поиска. Но, мне кажется, он был близок ко многим ответам...

– И всё-таки ваше обобщение мне кажется преувеличением. Не все жаждут сокровенного знания и привилегии входа в потайные двери. А некоторые, напротив, случайно наткнувшись

⁸ Любопытствующие могут обратиться к повести автора «Каждый следующий».

на клад истины, зарывают его ещё глубже и бегут не оглядываясь. Почти три тысячи лет человечество живёт с аксиомой: «Во mnogой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Богу – Богово, поэту – поэтово, человеку – человеково. Не влезай – убьёт! Вот и Августу вашему не поздоровилось.

– Вы зря улыбаетесь, – довольно жёстко произнёс он, хотя я вовсе и не думал улыбаться, моя гримаса, скорее, нервное проявление. – Август вовсе не был сумасшедшим. Некоторые симптомы шизофрении, параноидальный синдром: страхи, голоса, мания преследования, определённые проблемы с идентичностью, нестандартное отношение к окружающему... В то же время он почти постоянно отдавал себе отчёт в том, где и в связи с чем находится, да и дело шло на поправку. У него было своеобразное чувство юмора. А потом... Так глупо и неожиданно всё случилось. Он, знаете, – тут доктор вдруг сам улыбнулся, хотя минутой раньше весьма нервно реагировал на мой более тик, чем оскал, – говорил, что психиатрия – это не медицина, а статистика, и всё дело в том, что нормальным априори считается большинство.

– По поводу большинства – абсолютно согласен, – я сделал совершенно серьёзное выражение лица, чтобы не заводить Андрея. Уровень его адекватности мне неизвестен, а вот весовая категория не в мою пользу. Он сам предупредил насчёт абсолютно здоровых. Надеюсь, шизофрения не передаётся воздушно-капельным путем?

– Да не в юморе дело. Во все нет. Временами он был вполне адекватным, выказывал подвижный и тонкий ум, что для шизофреников нехарактерно. Это всех и ввело в заблуждение.

Симптомы как бы мерцающие, непостоянные. Терапия была достаточно мягкой, опасности ни для кого он не представлял. Только для себя, – Андрей оправдывал то ли Августа, то ли себя. – Вам, наверное, не интересно? Всё, закрыли тему. Простите. Дверь заперта.

– Как вам угодно, – я подумал, что если теперь моя очередь поддерживать разговор, то в нашей ситуации за благо было бы вернуться к теме погоды. Неисчерпаемо и нейтрально. Хотя, может быть, какой-нибудь анекдот (я, увы, не спец по этой части) или армейская история (за неимением собственного опыта также, увы мне) могли бы разрядить обстановку. И, неожиданно для самого себя, вместо предполагаемой метеорологической темы вернулся к закрытой Андреем: «Интересное имя Август, да ещё второй. Октавиан... Что-то античное, латинское, императорское». Я предпринял честную попытку выказать своё неотрицательное отношение и непосредственно к покойному, и опосредованно к Андрею.

– А, вы про имя, – он улыбнулся – нет, к императорским амбициям Август отношения не имеет. Это вроде псевдонима, ну, знаете, у артистов так принято... Я думаю, здесь что-то календарное...

«Душевнобольные называют себя именами императоров, великих учёных или писателей типа художников. Интересно, лет через сто, в самом начале двадцать второго века, найдётся хоть один сумасшедший, кто назовётся моим именем? Это своего рода признание, и его надо заслужить. И какие новые категории людей дадут свои имена следующим поколениям обитателей жёлтых домов? Известные бандиты и звёзды «мыльных опер»? Мельчает человечество...» – вихрем пронеслось в моей голове. Я окончательно смирился с присутствием Андрея и почти простил ему вторжение в моё неудавшееся одиночество. Потолкуем. А завтра и не вспомним друг друга. Тоже вариант.

– Хотите коньяку?

Он проигнорировал мой отрицающий жест и заказал два «по сто» и лимон, зачем-то сразу же оплатив заказ.

– Я вообще-то не пью, – Андрей в несколько крупных и шумных глотков выпил свой коньяк. – То есть раньше не пил, – он закусил кружком лимона и по-детски скривился.

Я ограничился тем, что бросил лимонную дольку в кофе. Я не привык пить коньяк в первой половине дня, залпом и по полстакана. Мой собеседник спросил у меня сигарету, заказал себе ещё коньяку и о чём-то глубоко и как-то картинно задумался. Может быть, он снова пере-

живал всё случившееся. А может быть, это просто действие алкоголя. Андрей заметно расслабился, перестал суетиться, его, как говорят, «отпустило». Его движения стали плавными, плечи расправились. Он подпёр кулаком щеку, от чего один глаз его превратился в щёлочку. Андрей даже как-то мечтательно улыбнулся, или это только ухмылка? Я не доктор, и вникать в чужое подавленное состояние мне не хотелось. Своего достаточно. Он закурил и закашлялся. Медленно смял сигарету в пепельнице. Я подумал, что сейчас услышу: «И не курю».

Мы замолчали. Разговор стих и рассеялся, как дым от погашенной сигареты. Андрей ждал, что я продолжу беседу. Хорошо, когда кто-то незнакомый, и оттого беспристрастный, поможет неожиданным советом или оценит ситуацию свежим, непредвзятым взглядом. Хорошо, когда этот посторонний оказывается на одной с тобой волне только сейчас, сию минуту, в краткое мгновение душевного унисона. Хорошо, когда ваше дорожное знакомство вот сейчас, в течение одного перегона между станциями, перелёта между двумя городами, или пока не объявят каждому свой рейс в разных направлениях, будет исчерпано полностью, до дна, без остатка и продолжения, мыслей и душевных терзаний. Если повезёт (а это, как правило), останутся приятные воспоминания и искренняя благодарность за участие или дельный совет, если даже память не удержит имя попутчика, мелкие детали и прочие обстоятельства времени и места.

Дорога как путь, путешествие – особое состояние. Путник лишён давления и поддержки привычного окружения, людей, вещей, мыслей, он открыт и восприимчив; оставленная по ту сторону порога ежедневная суета высвобождает время, даёт возможность поразмышлять, глядя на меняющийся ландшафт вдоль покоряемого пути. И не важно, что ты видишь: мелькающие за окном поля, лес или города, или носки собственных башмаков, поочерёдно отталкивающих назад пыльные вёрсты просёлка. Путник – это особое агрегатное состояние человека. Христианская традиция даже освобождает путника от обязательства соблюдать пост. Дорога, так же как пост, требует душевных сил, упорства и веры и очищает, как молитва и причастие. И не важно, куда и зачем идти: чтобы постичь, узнать или принести весть; чтобы приблизиться или скрыться; выполнить долг или уйти от расплаты.

Впрочем, у путешествующих по маршруту крашеной карусельной лошадки к целям, определённым контрактом, прелесть и свежесть дорожного просветления притупляется, а лёгкий неспешный шаг пилигрима со временем вырождается в тяжёлую поступь кандалника.

Я должен как-то ободрить Андрея, отговорить от радикального решения укрыться от трагической ошибки (но не вселенской же трагедии!) в глуши, в одиночестве, которое его погубит? А с чего я взял, что погубит? А если исцелит? Не мне решать. А он ждёт от меня совета или просто участия. Хотя никогда в этом не сознается и не попросит. Его исповедь оставила у меня впечатление, что он колеблется и мне по силам вернуть его назад, чтобы пережить, забыть и продолжить «подавать надежды». К тому же доктор он, может быть, и вправду неплохой. С другой стороны, фельдшерить в деревне – красиво и благородно, и пользы человечеству принесёт не меньше.

Андрей отряхнул коньячное блаженство, словно почувствовал просыпающееся во мне участие, и решительно сказал: «Есть ещё одно обстоятельство. Я должен был после учёбы вернуться назад, домой, к нам, в районный центр. Но не вернулся, прижился и разнежился в городе. За это и получил такой урок. Так что я вернусь, начну всё сначала и всё исправлю». Случайная остановка в пути, случайная встреча, окончательно принятое решение. Судьба честно дала ему последний шанс передумать. Он всё решил. И сжёг мосты. Он сказал это не мне – себе самому. Мне стало нечего и незачем добавлять. Утешать людей и принимать за них трудное решение у меня всегда получалось неважно.

Снова повисла пауза. Её прервала диспетчер, прошелестев по громкой связи стандартным вокзальным голосом (дух аэропорта прилежным эхом вторил ей) о совершенно очевидном: все рейсы по погодным условиям снова откладываются на два часа.

– Мне пора. Приятно было познакомиться, – Андрей поднялся и протянул руку, отдавая дань этикету заметённых снегом. Крепкое рукопожатие. – Всё наладится. И, возможно, этот день ещё извинится за доставленные неудобства. А нет – и ладно. Ничего фатального не произошло. Больше позитива. Жизнь коротка! – он предпринял попытку ободрить меня. Наверное, профессиональная докторская привычка...

– Уходите?

– Пойду проветрюсь, подышу свежим воздухом. Душно. А в психиатрических клиниках дверей в палатах, туалетах и коридорах нет. Это так, для сведения.

Он оглянулся, словно проверяя, что ничего не забыл, внимательно посмотрел мне в глаза, будто хотел запомнить моё лицо, грустно улыбнулся, закинул на плечо сумку на длинном ремне и ушёл.

Я снова посмотрел за окно – без изменений. Сонная тишина. Но отчего-то мне эта тишина показалась затишьем перед бурей. Стало клонить в сон. Я допил кофе, затем по-варварски, как мой недавний собеседник, залпом проглотил коньяк и последовал примеру доктора – поспешил на улицу, на воздух, стряхнуть дремотное оцепенение и как-то, пусть без значимого результата, но – действовать.

Непогода усугубилась. Метель не унималась. Похолодало. Мороз пробирался за пазуху, но возвращаться назад не хотелось. Ресторан я только что покинул, в зале ожидания – диффузия неугомонной толпы, превращающей нерастратченную энергию бездействия в беспечное движение или придумывание бездны срочных дел и забот. Я предпринял ещё одну безуспешную попытку позвонить своим коллегам, но таксофон не удовлетворился мздой в размере жёлтого угловатого жетона и остался глух и нем к моим нуждам и чаяниям. Я поспешил вырваться из человеческой трясины, болота голосов, со звонко лопающимися пузырями детского плача.

Я стоял на крыльце аэропорта спиной к хлопающей двери, как витязь на распутье. На улице, на удивление, оказалось темнее, чем в здании, – близятся сумерки. И холоднее, чем во время моей предыдущей прогулки. Подумал, что похолодание к лучшему: может быть, прояснится, метель утихнет, и я, наконец, покину эту чёрную дыру, провал в пространстве и времени. А пока надо найти себе занятие.

Мое внимание привлекла толпа посреди привокзальной площади. Люди стояли, образовав тесный круг, вытягивая шеи и устремляя свои взгляды внутрь него. Чуть в стороне одним колесом на тротуаре стоял белый автомобиль. По лобовому стеклу в левом верхнем углу разбежалась паутина трещин. Я подошёл ближе, но не слился с толпой, а встал чуть поодаль от заснеженных зевак. Всё последующее показалось мне дурным сном. На снегу в неестественной позе лежал человек. Неподвижно. Несчастный случай. Гололёд и метель. На краю тротуара, спрятав лицо в ладони, сидела молодая женщина. Её руки были в крови. Через толпу, бесцеремонно расталкивая любопытствующих, уже пробирались люди в погонах. За ними, как сухогрузы за ледоколом, в образовавшийся проход шли белые халаты. Один приблизился к распростёртому телу и склонился над ним. Открыл свой оранжевый чемоданчик. Перевернул тело на спину, отчего залитое кровью лицо пострадавшего устремило невидящие глаза в мутное небо. Приложил руку к шее, нащупывая сонную артерию. Минут пять или целую вечность колдовал над недвижным телом. Искусственное дыхание не помогло. «На смерть, – доктор поднялся, отряхнул снег с колен и добавил: – Похоже, пьян». Закрыл свой бесполезный чемодан. Подъехала «скорая». Погоны разогнали толпу, допросив свидетелей. Рутинка. Труп унесли. Зеваки разошлись. Вьюга заметала следы. А я всё стоял и смотрел на снег, туда, где только что лежал Андрей. Мой случайный знакомый. Подкатила тошнота. Меня бросило в жар, хотя ледяная колючая снежная крупа сыпалась с неба и, увлекаемая злым ветром, пригоршнями летела в лицо и за ворот. «Ничего фатального... Больше позитива...» – Андрей ошибся. Вдруг мой рассеянный взгляд выхватил из липкой белой пелены тёмный предмет, наполовину занесённый снегом, с отпечатком подошвы. Озираясь, подошёл. Ещё раз оглянулся – нет, никто не видит.

Поднял. находка оказалась тетрадь в чёрном виниловом, «под кожу», переплёте. Раритет. Теперь таких не делают. Счистил налипший снег и открыл на первой попавшейся странице. «IX:16 Дождь...» – дневник Андрея? Записки сумасшедшего? Я снова убедился, что остался незамеченным, спрятал свою находку в карман пальто и зашагал прочь.

Я брёл, как сомнамбула, и двигался исключительно по двум причинам: первой из них было умение ходить, а второй – необходимость что-то делать. Я пересёк площадь, от которой начинались две аллеи, уходящие в зябкую белую бесконечность, очерченные высокими пирамидальными тополями, стылými и неподвижными, прошёл мимо стоянки такси и набрёл на заведение под названием «Братья пилоты» – кафе со стилизованными круглыми окнами и официантками в сине-белой форме стюардесс.

Было свободно, непоседливые транзитники пока окончательно не разведали местность и не добрались сюда через заснеженную пустыню мёртвой площади. Я занял столик в углу у окна. На половине стола, свободной от салфетницы без салфеток, пепельницы и моих рук, подпирающих шумящую от всего происходящего голову, я возвёл редут из кейса, тем самым единолично узурпировав столик. Место под солнцем. Открыл тетрадь, но не смог прочитать и строчки. Меня пронзила дрожь, как от порыва студёного ветра, долетевшего из царства теней. Мне почему-то казалось, что я чудом избежал смерти и что на снегу, ниц, с расколотым черепом должен был оказаться я.

На пожелтевших листах тетради шёл фиолетовый дождь. Тот, кто вёл этот дневник, писал размашисто, чрезмерно удлиняя строчные «д», «в», «у», «р» и «з», которые занимали по три клетки и в беге своём пронзали строки сверху и снизу. Весь мир для меня сузился до прямоугольника отсыревшей от снега тетради. Я не замечал ничего вокруг. Ни колючих взглядов прибывающих посетителей, негодующих из-за моей беспардонной, демонстративной и единоличной оккупации столика, ни того, как на столе появилась чашка кофе и чистая пепельница, ни голосов, ни лиц, окружающих меня. Мысли путались и, сталкиваясь, как бильярдные шары, разлетались в разные стороны. Я почему-то вспомнил детство, заметённые снегом, бесконечно долгие вечера в маленькой и тесной из-за нагромождения мебели комнате, тускло освещённой лампой под зелёным шёлковым абажуром. Нагоняющий ужас и тоску вой выюги за окном, казавшийся мне воем страшного, чёрного и мохнатого зверя. Затем обрывки каких-то стихов, попугайски заученных мной, служивших источником похвалы умилённых слушателей, в основном соседей, и невинным способом добывания сладостей. Образы прошлого нагромождались, как льдины во время ледохода, смешивались, порождая абсурдные формы. То мне чудился кошмар: одушевлённые и озлобленные клубы чёрного жирного дыма, стремящиеся поглотить меня, и мои безуспешные попытки убежать или призвать помощь, – родом из далёкого детства, со времён первой ангины, на грани осознания себя собой, когда части тела, отражение в зеркале серванта, звучащее извне имя соединяются и навсегда прикрепляются к внутреннему «Я», образуя маленькую, но личность. То вдруг вставал перед глазами чудесный вид, открывавшийся с вершины горы, которую местные жители называли Петушинской, покорённой посредством мотка бельевой верёвки, сбитых о камни коленей и недюжинного упорства, тайком, в порядке очередной проказы с соседскими мальчишками. Речка, блестящая тысячами солнечных зайчиков, медленно и плавно огибающая подножье покорённой вершины, ярко-зелёные луга и лес на другом берегу. Слепящее и отпечатывающееся множеством фиолетовых дисков яркое, бьющее в глаза солнце. Наконец всё исчезло, и остался только человек на снегу. Лицом вниз. Чёрная точка в бескрайней белой пустыне.

Народу прибывало, и вскоре свободных мест не осталось. Но моя фортеция устояла. Я остался один на отвоёванном пространстве. В заслуженном и блаженном одиночестве среди чужих, взаимно безразличных людей. Попытался сосредоточиться или расслабиться, пока ещё не зная, что в данный момент получится.

Кто-то рядом кашлянул, привлекая моё внимание, и переместился из зоны периферийного зрения в точку фокуса.

– Ждёте? – откровенная издёвка в голосе. Ко мне, дыша вчерашним перегаром, подошёл туземец с помятым, испытанным лицом. Он был одет в распахнутую, ввиду полного отсутствия пуговиц, тёмную телогрейку неопределённого цвета, но, определённо, грязную и замусолённую. На голове его, несмотря на изрядную стужу, красовалась лихо сдвинутая на затылок синяя лётная фуражка, без кокарды, совершенно потерявшая от долгой и нещадной носки вид и форму. Один из братьев пилотов или злой дух аэровокзала во плоти? Он оценивающе оглядел меня с головы до ног, прикидывая, сколько и в какой форме можно стясти на опохмелку. Затем улыбнулся, пытаясь придать своей физиономии вид не заискивающий, но приветливый, отчего на его небритом лице обозначились две складки – скобки в углах обветренных губ. Я подумал, что я для него – клиент безопасный: человек в галстук не станет драться или кричать на него, болезного, матом в общественном месте – и ухмыльнулся в ответ. Он изобразил то ли медленный учтивый поклон, то ли жеманный и затяжной приветственный кивок. Я протянул ему две мятых десятки: «На, и топай», – желая немедленно избавиться от этого, конечно же, «бывшего лётчика». Меня совершенно не интересует фольклор провинциальных алкоголиков. Он принял деньги как должное и с достоинством спрятал в недрах своей хламиды.

– Самолёты полетят в половине седьмого. Самое позднее – в семь. Я точно знаю! – он воровато оглянулся по сторонам. – Вылет откладывают сознательно. Погода в порядке. Боковой ветер в норме, видимость – триста тридцать, вполне лётно, уж можете мне поверить!

– Зачем?

– Ха! Это же надо понимать! Это же бизнес! Двухнедельная выручка за шесть часов! И заметьте, уйдёт весь лежалый товар. На вас все заработают деньги! Буфет, камеры хранения, комнаты отдыха, носильщики, вся вокзальная коммерция: журналы-газеты, сувениры-сигареты, таксисты, карманники и... – он на секунду умолк, решив, видимо, опустить упоминание ордена, к которому принадлежал сам, и продолжил: —Без таких, как вы, у нас три рейса в неделю. Но не зря же мы получали статус «запасного аэродрома»! Наш город входит в «бермудский треугольник». Установлена очерёдность по захвату заложников, – он презрительно кивнул в мою сторону, – и отъёма всеми возможными способами денег! Заговор! В это время года через нас лучше не летать. И никто никогда ничего не докажет. Все будут счастливы улететь и забыть о существовании сей постылой директории. Вас отпустят после того, как взыщут дань, и перед тем, как кончится ваше терпение. Ну и потом, в девять аэропорт закрывается, – на этом он внезапно смолк. Вероятно, решил, что свою двадцатку отработал, и удалился гасить пламя похмелья. И его скромный бизнес принес искомую сумму.

А меня несколько удивила его, в целом, связанная и не лишённая изящества речь. Похоже, в прошлом интеллигентный был человек. И, может быть, действительно лётчик.

Хлопнула входная дверь. На пороге у входа в зал появилась новая посетительница. Что-то в её чертах показалось мне знакомым. В памяти возникла картинка из далёкого прошлого. Оправившись от дежавю – хлопок двери и её появление – я не поверил глазам – Татьяна Шустова! Она изменилась с того дня, когда прочно заняла место в моём сердце, а её имя стало для меня синонимом счастья, но я узнал её без труда. Она глянула поверх голов, отыскивая свободный столик, не нашла и собралась уходить.

– Татьяна! – я окликнул её и резко поднялся, едва не опрокинув стол, – идите сюда, здесь свободно!

На нас сошлись скучающие взгляды посетителей. Она удивлённо подняла брови и посмотрела на меня: «Мы знакомы?»

– Да. То есть вы меня вряд ли вспомните, а я... – не договорив, увлёк её за собой.

Ущипните меня! Этого не может быть!

Татьяна предпочла перенести уточнение деталей из центра зала за мой столик. Посетители снова уткнулись в свои чашки и газеты. Волна улеглась.

– Кофе?

– С удовольствием, я замёрзла.

– С коньяком?

Она неуверенно кивнула. Стюардесса-официантка неожиданно быстро исполнила заказ.

Татьяна неотрывно следила за мной. В её взгляде читалось любопытство. Она тщетно пыталась отыскать в памяти моё лицо. Я изобразил располагающую улыбку.

– Меня зовут Александр. Не пытайтесь меня вспомнить. Мы встречались единственный раз в М-ском университете...

– А, вы, наверное, студент моего папы?

– Нет. Не совсем так... Разве это теперь имеет значение?

– Пожалуй, нет. А что значит теперь?

– Не знаю, теперь значит, сейчас.

– Ну, хорошо, пусть будет «сейчас».

Татьяна поставила на стол чашку, которую держала двумя руками, отогревая тонкие озябшие ладони.

– У вас хорошая память на лица.

– Да, – я смутился, не зная как быть дальше.

Долгое время мысленно я бессчётное количество раз представлял нашу встречу и подбирал слова, все, что ей скажу. Пробовал сотни интонаций произнесения её имени. Но сейчас все слова показались мне недостаточно ёмкими и точными. Увидеть Татьяну снова казалось мне нереальным. Невозможным. Шанс – один к шести миллиардам. И все мной придуманные и собранные по крохам, как кусочки мозаики, фразы беспомощно рассыпались. Время разрушило хрупкую конструкцию несбывшейся мечты и воздвигло новую, более прочную и утилитарную, в ущерб изяществу.

Моя улыбка, по всей видимости, из и без того не вполне располагающей, стала растерянной. В ответ она тоже улыбнулась. Едва заметно, одними глазами. Мне кажется, она начала понимать, в чём тут дело.

– Я думал о вас.

– Интересно, что?

Действительно интересно. Мне тоже было бы любопытно узнать, что и почему думает обо мне человек, лишь однажды, мельком видевший меня.

– Я снова вас вижу! – я путался в словах и чувствовал, что теряю шанс добиться расположения этой дорогой для меня девушки. Слишком неожиданной для меня была эта встреча. Впрочем, иначе и не могло быть.

Я смотрел на неё и думал, что та, которая сейчас сидит напротив и внимательно смотрит мне в глаза, и другая, по сути являющаяся плодом моего воображения, Татьяна – два совершенно разных человека. Придуманная мною – наивная семнадцатилетняя девчонка, единственная дочь профессора Шустова, капризная и избалованная, но обаятельная и живая. Персонаж из моего прошлого. Другая – совсем мне незнакомая молодая женщина, в чьих милых чертах та, придуманная мною, почти не видна. Настоящая, во внимательные глаза которой я смотрю с замирающим сердцем.

– Вы путешествуете одна? – я решил сменить тему разговора и выиграть время.

– Я возвращаюсь домой... Эта чудовищная погода... Вы знаете, замечательно, что я вас встретила... Хоть один близкий человек в чужом городе. Здесь всё замечено снегом, и кажется, что так всегда было и всегда будет. Столько людей! В буфет не пробиться, кресла в зале ожидания – прокрустово ложе, – она говорила без остановки, словно компенсируя вынужденное

молчание среди не слишком приветливых сограждан, озабоченных исключительно своей персоной.

Меня забавляло её, казавшееся напускным, недовольство погодой, задержкой рейса, неудобствами тесного, прокуренного провинциального аэропорта, блистающего лишь ничтожной потёртых перил, лестниц и кресел. Я молча слушал, иногда ободряюще улыбался, что, безусловно, делало меня приятным собеседником. Слова «близкий человек» были, конечно, преувеличением, но согрели меня. Я расслабился, вся тяжесть этого дня переместилась в область нереального, стала как будто воспоминанием о кошмарном сне.

Я смотрел на Татьяну и невольно отмечал отличия её, настоящей, от моего «сказочного» прообраза – её голубые глаза на самом деле были серо-голубыми, скорее даже серыми, волосы оказались светлее... У моей собеседницы выяснилась странная манера говорить: она то ускорила темп речи, то замедляла, словно тщательно подбирала и взвешивала слова.

Вдруг Татьяна замолчала, и что-то изменилось в её взгляде. Она о чём-то лихорадочно думала. Взгляд стал рассеянным. Она явно поняла причину моего лепета и моей взрывной реакции на её появление. И, витийствуя по поводу этой дыры и её обитателей, как и я, тянула время. Не может быть! Зачем? Я, возможно, неверно интерпретирую или неточно чувствую происходящее? Ей, в отличие от меня, не нужно дополнительное время, и наша беседа для неё не может иметь то же значение, что и для меня. Это я в неё заочно влюблён. А она, по большому счёту, видит меня в первый раз. Встреча в фойе – не в счёт. Для неё – не в счёт. О чём она думает? Или это я брежу из-за избытка эмоций и событий? Всё, должно быть, просто. Она, молодая девушка, попала в маленькое приключение, которое, несмотря на все мелкие неудобства, доставляет ей удовольствие.

– Да, с погодой нам не повезло, – я постарался легонько подтолкнуть её иссякающий монолог с одной целью – снова слушать звук её голоса.

Я смотрел в её глаза и готов был вот так сидеть целую вечность, всё глубже проваливаясь в волнующее наваждение, через слово улавливая смысл произносимых ею фраз. Мне нестерпимо захотелось посадить её себе на колени, как маленькую девочку, обнять и уткнуться в светлые, чуть влажные от растаявших снежинок волосы.

– Это моя первая самостоятельная поездка, я была у подруги, на севере; она работает в газете, это так интересно! Вокруг неё столько необыкновенных людей: артисты, музыканты и даже политики и бизнесмены! Мы когда-то вместе учились, но она всё бросила, вышла замуж и уехала в настоящую жизнь! Правда, сейчас она пока не пишет, сейчас она молодая мама, – в её голосе прозвучала то ли нота зависти к «настоящей жизни» подруги, то ли тоска по свободе. Минорная интонация.

«Она не хочет возвращаться домой!» – осенило меня. И эта задержка рейса – маленькая передышка, ещё несколько мгновений свободной жизни. Хотя... Нет, есть ещё что-то. Может быть, сожаление, как-то связанное с тем, что произошло, или, наоборот, – не случилось там, у подруги? Необходимость возвращения, увеличивающая расстояние между желаемым и действительным? Уже потом, вечность спустя, восстанавливая разбитую картинку этих дней, я понял: Татьяне нужно было заглушить боль искалеченной любви и предательства, боль, сковывающую движения и мысли, боль от ожога неосторожного знакомства с реальным и жестоким миром. Выплыть, спастись, выбраться из стремительной реки, куда её, как котёнка, слепого и обречённого, бросила жизнь. Просто выжить. Но в тот вечер я, опьянённый происходящим, сгорающий от нетерпения обрести её, мою нереальную и потустороннюю мечту, ослеплённый и оглушённый произошедшим за несколько предыдущих часов, всего этого не почувствовал.

– Раньше со мной всегда ездила мама, – выражение её глаз снова изменилось: забота или грустное воспоминание. – А сейчас заболел отец, и она осталась дома. Я хотела отложить поездку, но Иван Петрович... то есть папа, – она на мгновение смутилась, словно выдав семейную тайну, – папа настоял, чтобы я поехала. Я сочувственно кивнул и в который раз собрался

с духом, намереваясь начать Главный Разговор. Но... Тщетно... Словно какое-то наваждение, слова застряли в горле, и я лишь неловко кашлянул и залпом проглотил остывший порошковый кофе. Никогда в жизни мне не приходилось так путаться в словах и мыслях в присутствии прелестных созданий, мелькавших в стремительном беге моей жизни верстовыми столбами. А тут... Теряюсь, как первоклассник. Я снова взял тайм-аут и поманил стюардессу-официантку.

– Вы какой-то странный... Что с вами? Я вас не утомила?

– Нет, что вы, так, пустяки, нервы.

– Да, неудобно здесь. Я имею в виду этот город, – она опустила глаза и стала водить пальцем по ободку кофейной чашки. Пауза в поисках темы.

– Это только эпизод. Он кончится. Самолёты скоро полетят; мне один туземец пообещал, что не позже восьми вечера по местному мы выберемся отсюда. Вы – домой, а я – по делам, – теперь я её как будто пытался ободрить. А как не хочется расставаться!

– А чем вы занимаетесь? – спросила она.

– Я, увы, не актёр и не поэт, и «даже не политик и бизнесмен», – я заимствовал Татьянино определение «необыкновенных людей». – Винтик. По сути, клерк, торгующий чужими опытом и знаниями. Суета и тщета, одним словом.

– А я учусь, доучиваюсь, немного осталось, ещё полгода и – в «большую жизнь».

– И кем же ты, то есть вы, станете в «большой жизни»?

– Планируется, что искусствоведом.

– Здорово...

– На самом деле, я хочу стать консультантом или экспертом где-нибудь в «Сотбис».

– А это что?

– Это? – она рассмеялась, – это известный аукционный дом, где среди прочего торгуют произведениями искусства. Я бы специализировалась на иконах.

– Понятно... Что ж, неплохо, – похвалил я её, но возникло странное ощущение... Татьяна хочет показаться проще, чем есть на самом деле? Получить работу в «Сотбис»? Хотя, почему нет? У каждой молодой девушки должна быть своя Хрустальная Мечта. Чем Татьянина не хрустальная? Нет, не то. Почему «Сотбис»? Как-то примитивно и слишком линейно. И иконы... Почему бы не «Кристис», «Друо» или, например, «Буковски»?

Я неотрывно смотрел на неё, стараясь придать своему взгляду загадочность, выдать его за рассеянное созерцание, подавив напряжённый нерв этого взгляда, более точно характеризующий словом «пялиться». Выручили бы тёмные очки.

Молодое и свежее лицо, высокий лоб, прямой носик, почти никакой косметики, только чуть подкрашенные губы. Кокетливые и притягательные ямочки на щеках. Несколько едва заметных родинок – на виске, на щеке, мушка над верхней губой. Прямые светлые волосы, чуть подвитые на кончиках. Серые выразительные глаза...

А вот глаза её выдавали. Она не искренна. Нет, она не то чтобы говорит не то, что думает, а просто думает сейчас совсем о другом. Отсюда и «Сотбис» – заготовленный заранее достойный ответ на вопрос взрослых дядь и тёть «А кем ты хочешь стать, когда вырастешь, детка?» Это даже не попытка выдать желаемое за действительное, а способ, никого не обидев, утаить сокровенное.

– Предлагаю выпить за знакомство и перейти на Ты (сколько раз я говорил эту пошлую фразу?), – я решил, как обычно, оставить мысли на потом. В иных ситуациях правильнее действовать интуитивно, не увязая в бессмысленных и безрезультатных раздумьях. Хотя экспромты – не самая сильная моя сторона.

Она кивнула. Мы картинно чокнулись. Чуть пригубили.

Наша милая беседа становилась всё более непринуждённой и приятной от взаимного осознания того, что это лишь мимолётная встреча двух увязших в непогоде путников, которых

свёл случай, и он же уведёт каждого своим путём в неизвестность. Однако я втайне надеялся, что это не последняя наша чашка кофе, выпитая тет-а-тет.

Татьяна украдкой взглянула на часы и неожиданно замолчала. Холодно посмотрела на меня, точнее, сквозь меня и отставила в сторону чашку. Я, словно с разбегу о стену, ударился о её серьёзный и нервный взгляд. Повисла пауза, в которую стремительным водоворотом ворвался ресторанный гомон. Я что-то ляпнул, не подумав? Нет. Ничего такого. К тому же я больше слушал, блаженно улыбаясь и хмелея более от её близкого присутствия и нескольких случайных прикосновений, чем от провинциального коньяка.

Она поднялась и протянула мне руку: «Приятно было познакомиться. Вы были очень любезны, но мне пора... Мне, к сожалению, действительно пора. Я должна... Идти...» Её словно подменили; снова на «Вы», ровный тон, стерильная любезность и никакого следа от прерванной на полуслове милой беседы.

Повернулась и спешно направилась к двери, на ходу надевая и поправляя шубку. Я опешил. Куда ей может быть «пора»? Здесь, пока не объявят вылет, никому и никуда не пора. Я подхватил кейс и ринулся за ней. На выходе меня не очень вежливо остановили, потребовав рассчитаться. Я кое-как отсчитал купюры, оттолкнул верзилу у дверей и под напутственное «Псих сумасшедший!» вырвался на волю. Татьяна исчезла. Напролом по сугробам я побежал к зданию аэровокзала в надежде отыскать бесценную пропажу.

Куда она могла пойти? Что случилось? Спешить ей, как и мне, некуда. Обидеть её я не мог. Точнее, не должен был. Я сознательно (чёрт, какая может быть сознательность в разговоре с милой девушкой?) обходил, не замечал явные нелепицы в её монологе, относя это на счёт сверх нормы эмоционально насыщенного моего сегодня. Что же могло произойти? И тут меня словно током ударило: она наркоманка. И ей срочно потребовалась очередная доза. Для «золотой молодёжи» из обеспеченных семей это зачастую привычный атрибут красивой жизни. И все неуклюжести и мелкие обманы – следствие того. Чёрт! Но где можно уколоться, или чего там они делают? Нюхают? Зелёной купюрой с оплывшей мордой президента по зеркальцу? «Свет мой зеркальце скажи...» Но где? На улице – не вариант. В уборной? Дамской комнатой означенное пространство в этой зловонной дыре не назовёшь. Но зачем тогда выходить на улицу, зачем идти в здание аэровокзала? В кафе, наверняка, чище и спокойнее. Я был близок к безумию. Слишком много потрясений для не самого простого дня моей жизни. Вошёл в здание аэропорта – та же толчея, монотонный, кажущийся механическим, гул толпы. Её нет! Я поплелся к зелёной двери с криво приколоченной пиктограммой. Круг и треугольник вершиной вверх. Чуть было не ворвался на заповедную территорию, но выходящая дама ехидно заметила: «Это женский». Я поспешно отошел в сторону. И... о, чудо!

Аллилуйя! Татьяна стояла в очереди к длинному ряду скворечников междугородних телефонов. Я мысленно восхвалил пёструю толпу незадачливых вояжёров, наводнивших эту пристань утраченной и обретённой надежды и создавших повсеместные очереди. Ей просто срочно нужно было позвонить. А я напридумывал всякой чепухи! И, нетвёрдо ступая по отполированному тысячами стоп истёртому полу, не сводя безумных глаз с объекта вожделения, двинулся к таксофонам.

Татьяна увидела меня, несколько не удивившись моему появлению, спокойно, несколько отрешённо спросила жетон и сняла трубку: «Домой позвоню». Я взял дистанцию, достаточную, чтобы не мешать телефонному разговору и в то же время, чтобы не потерять её в толпе. Моё бедное сердце этого не выдержит. Она стала набирать номер. Я с удивлением отметил, что она набирает код, который значился и на моей визитке, а запомнить номер, семь несложных цифр, для меня не составило труда. Вот это сюрприз! Мы земляки! Место моего жительства, моей ссылки, где я провёл три года и был уверен во временности пристанища, оказалось домом Татьяны Шустовой. Сегодняшний счёт приятных и печальных сюрпризов стал ничейным. Она разговаривала не больше минуты. Затем, не опуская трубки, спросила ещё жетон. Я отдал ей

два последних. Она снова набрала номер. Другой номер, при этом заслонила диск с маленькими металлическими кнопками спиной. Трубку долго не брали. Наконец жетон провалился в аппарат, и Татьяна метнула в меня испепеляющий взгляд – требование удалиться. «Серый?» – последнее, что я услышал отходя.

– Я уже говорила, – у моей подруги родился сын, – Татьяна приблизилась ко мне. – Спасибо за жетон, – голос её дрогнул, мне показалось, что она сейчас разрыдается. – Сергей – это её муж, – она, безусловно, поняла, что я услышал начало разговора. Но зачем ей всё это мне объяснять? И к тому же она сказала «Серый», а не «Сергей». Но... Не моё это дело. Сейчас это не имеет значения.

– Я устала, – Татьяна как-то по-детски беспомощно оглянулась вокруг, словно ища опоры или места, где можно присесть, а может быть, обречённо принимая происходящее вокруг. Или внутри? Пауза.

– Татьяна! Мы земляки!

– ?!

– Код города... Совпадает...

– Да ну? Здорово! – она оживилась. Но во взгляде читались отчаянье и боль.

Я стал думать, что делать дальше. Нужно найти какое-нибудь спокойное место. Возвращаться в «Братья пилоты» бесполезно, там свободных мест, вероятно, не осталось.

– Который час? – она, не поднимая глаз, зябко запахнула свою короткую шубку.

– Без пяти семь, – сообщил я.

И тут объявили отправление первого из задержанных рейсов, а затем и всех остальных, одного за другим, в ритме пригородных электричек, словно подтверждая похмельный бред проходимца в лётной фуражке. Мой рейс был первым, Татьянин числился в конце списка.

– Наконец-то... Нам пора. Я могу тебе позвонить по возвращении? – я попытался возобновить разговор. – Куда-нибудь сходим. Расскажешь про свой «Сотбис».

– Позвони. Да. Обязательно. Я буду ждать, – Татьяна отвернулась и побрела прочь.

– А номер?

– А ты разве не запомнил? Это домашний...

На этом мы расстались.

На пороге

(из тетради Августа П)

VII:7

... но это тоже не свобода. Социальное благо? Наименьшее зло? Что угодно.

Свободы не существует. Свобода – поэтический символ. Свободен ветер? Нет. Им движет перепад давления между циклонами и антициклонами. Ветер не выбирает направления. И его движение, его полёт все используют в меру сил: растения, чтобы рассеять семя своё, люди, чтобы уплыть в Индию или смолотить хлеб.

Птицы? Полёт птицы – поиск пищи и смена широт, отступление перед натиском непогоды.

Человек? «Внутренняя свобода»? Истории такие случаи неизвестны. Человек – социальное животное. То есть на уровне инстинктов – стадное. В стаде свободы нет. Но... Одиночки не выживают.

Свобода выбора? Ха-ха-ха. Варианты выбора – высокотехнологичный продукт. Выбирай: белая роза – красная роза. Что, хочешь чёрную? Извини. Не завезли. Ну, так белая? Или красная? Иллюзию свободы можно создать медитацией или купить за деньги.

Свобода мысли? Возможно... Хотя, нет. Вариант бесплодный. Сколько мыслей после внутренних и внешних кордонов в виде условностей, правил, суммы приличий, названия эпохи, табу, воспитания, страха смерти или психушки увидят свет?

Я считал: меньше тысячной доли... Первый цензор – это ты сам. Ты можешь быть уставшим после работы, от жизни или сам от себя, благодушно настроенным после еды или женщины, ленивым от природы или из-за времени суток и вследствие этого умерить контроль и дать слабину. Но слабость – это не свобода.

Свободны безумцы...

Татьяна опаздывала на сорок минут. Я сидел за столиком и болтал кубиком льда в почти опустевшем бокале. Вода без газа. Немного нервничал. Избегал смотреть на часы. Придёт обязательно. Мало ли что? Дамам свойственно (или предполагается женским этикетом) опаздывать на свидания. После нашего с Татьяной возвращения домой мы встретились лишь раз и условились о втором randevu – сегодня.

Наша первая встреча продлилась чуть больше часа и прошла на аллеях городского парка, в пути между главным, Восточным входом, и Северным. Я набрал заученный раз и навсегда номер телефона и спросил Татьяну. Строгий женский голос поинтересовался, кто её спрашивает и, удовлетворившись моим ответом «сокурсник», передал трубку искомому абоненту. В целях конспирации наше свидание Татьяна в телефонном разговоре (несомненно, для ответившего мне «строгого голоса») назвала консультацией по курсовой работе. Секретно и романтично.

Назавтра случился необычайно тёплый для конца февраля, но ветреный день. Кругом таял снег, наводя слякоть и предвещая гололёд наутро, но вычищенные и выметенные дорожки, которые вели нас, были почти сухими, за вычетом вен-трещин в холодном сером асфальте. Безмолвствовали голые деревья, суетились почуявшие скорую весну воробьи. Всё это, особенно суматоха пернатых, как будто наполняло воздух неясным, обманчивым ощущением весны. Как

пробующий звук оркестр: ещё не музыка, но её обещание. Очевидно, зима соберёт остаток сил и даст последний бой отчаяния, но уже предрешено.

Мы целомудренно поцеловались при встрече, как старые, добрые знакомые. Побрели по немногочисленным, будничным аллеям. Каждый как будто ждал сигнала к действию, уступал ход другому. Говорили поначалу ни о чём, очень мало, прислушиваясь друг к другу и своим внутренним голосам, пытаюсь уловить унисон и понять: да или нет, будет ли продолжение, должно ли быть? Вспомнили нашу встречу, захолустный аэропорт, метель, словно восстанавливая течение времени, повторяя содержание предыдущих серий перед началом новой. Вспоминали звучание наших голосов. Дорожные знакомства никого и ничему, как правило, не объявляют. «А вас?» – «Татьяна». – «Очень приятно». Это, скорее, вопрос этикета, чем повод для продолжения. Нам предстоит именно сейчас познакомиться по-настоящему. Узнать друг о друге нечто большее, чем звучание данных нам имён.

Постепенно напряжение спало. Она взяла меня за руку и временами, как бы невзначай, легонько сжимала мою ладонь. Всё это казалось немного наигранным, но откуда я могу знать, как ведут себя профессорские дочки на первом свидании? Затем, сославшись на то, что ей холодно, занесла мою руку себе на плечо в полубогазии.

Татьяна стала рассказывать о своих «северных» впечатлениях: о тундре, о том, какой она видится с самолёта, – «как маскировочная сеть, вся в замёрзших лужицах болот»; о геометрически правильных, отсыпанных жёлтым песком площадках бесконечных нефтяных вышек, от которых отходит прямая дорожка, оканчивающаяся огоньком факела; о небольших и немного скучных городах нефтяников; о замечательных людях-сибиряках – и даже припомнила какую-то туземную легенду о медведице. Путевые заметки. Но ни слова о цели визита.

Татьяна говорила не спеша, иногда очень медленно, словно подбирая слова. Я молчал, дыша влажным воздухом, ощущая благодатную отрешённость от окружающего мира, своих и чужих сует, и думал, что вот так готов идти куда угодно и сколь угодно долго, сжимая тёплое плечо дорогой мне девушки, ощущая её близость по голосу и горькому аромату духов, и даже не глядя на неё, испытывая томную радость её присутствия. «Мгновение, повремени!» – совсем не то. В этом нет необходимости. Татьяна всегда будет рядом, и пусть время идёт вперёд, ведёт нас сквозь свои лабиринты, открывая за каждым поворотом новое и неизведанное. Как и что будет дальше – неизвестно никому: ни ей, ни мне, ни идущему нам навстречу старику в сутулом пальто с зябко поднятым воротником. Эти страницы не только не написаны, они ещё даже не придуманы. Но на тот момент будущее виделось, точнее, мечталось светлым и беспечальным. И от этого всё казалось лёгким, прозрачным, воздушным.

Наша плавная беседа петляла синхронно с извилистыми дорожками парка, мы парили, не касаясь земли, смотрели вокруг и в небо, не замечая деталей, о чём-то говорили, даже спорили, вслушиваясь в звучание голоса друг друга и почти не вникая в слова.

Подойдя к выходу, к Северным воротам, Татьяна остановилась, повернулась, обняла меня и неожиданно поцеловала. Взрыв эмоций, обещание счастья. Ответ на мои сомнения. Она, улыбаясь, заглянула мне в глаза и сказала: «Мне пора. Останься здесь, задержишься на пять минут, не провожай!»

Я остановился. Татьяна быстро, не оглядываясь, прошла под аркой ворот и вышла из парка. За воротами, к моему глубокому изумлению, Татьяну ждал автомобиль, и при её появлении водитель вышел, распахнул дверцу. Она села в машину, исчезла за чёрным тонированным стеклом. Я остался незамеченным для того, кто увёз мою бесценную. Ощущение удивительного, светлого, вдохновляющего сна, детали которого тают при пробуждении, оставляя лишь мягкий туман и сладостную негу, с того дня со мной.

Вышло так, что, условившись о скорой встрече, мы неожиданно расстались почти на две недели: мне срочно и внепланово пришлось уехать, а Татьяну папа-профессор усадил за учёбу. Эти двенадцать дней первой нашей разлуки, когда я ещё не слишком уверенно произносил,

а самое главное – осознавал значение слова «нашей» применительно к себе, тянулись бесконечно. Я с удивлением отмечал происходящие во мне перемены.

С женщинами я сходил и расставался легко и без печали и был уверен, что осязаемая личная свобода гораздо более ценна и важна, чем абстрактная любовь. Планета моей личной свободы, моя заповедная пустынь держалась на трёх китах-убеждениях: 1) все женщины по большому счёту очень похожи; 2) из чувств не должны происходить обязательства; 3) есть только сегодня. Один из классиков утверждал, что роман живёт в среднем три месяца, я его наблюдение полностью разделяю. И хотя Моэм заявлял об этом как писатель, я считаю, что эта максима справедлива не только для литературы.

Когда восторг открытия, познания чужой души и тела утрачивает новизну, когда число белых пятен на карте покоряемого материка становится ничтожным и начинаешь предугадывать ответную фразу, когда проходит очарование свежести отношений, я бегу от рутины сосуществования. И пусть это выглядит как побег, как отступление, я не замедлю шаг. Я не могу так долго стоять на одном месте.

На самом деле процесс познания другого бесконечен и близкий человек неисчерпаем. Но у меня не хватает терпения и постоянства. Установившиеся отношения засасывают, как тряпина. Возникают взаимные обязательства, количество переменных при принятии решения множится, мешая стремить полёт. Это требует желания и навыков «серьёзных отношений», терпеливого умения «принимать таким, как есть», овладения искусством «находить компромиссы». При этом петляет и теряется время, которое можно потратить на новые открытия. А жизнь так коротка!

«Как хорошо, что никогда во тьму ничья рука тебя не провожала», – сказал Поэт, это стало моим кредо надолго. Такое положение устраивало меня и должно было устраивать окружающих, ибо любой, а точнее, любая из тех, кто не хотел или не мог принять моих правил игры, простить мне мою маленькую слабость, мой мелкий эгоизм, исчезали из моей жизни, жизни одинокого, но незлого волка. Иногда возникало ощущение зябкости и пустоты, но я относил это на счёт нормального, обыкновенного одиночества в толпе, привычного состояния городского жителя, скользящего по поверхности, – одиночества в Вавилоне. Все женщины в моей жизни (а их было не много, четыре или пять) отыгрывали вместе со мной плавно возникающий и часто внезапно обрывающийся эпизод, продолжительностью в среднем в один театральный сезон, редко – в два, и оставались в памяти как прочитанные книги, некоторые страницы которых благодарно помню наизусть.

Исключение – Маша, временами согревавшая мою стремительную жизнь, моя самая искренняя, верная, надёжная, но уже нелюбимая женщина. Мы с Машей предприняли безуспешную для нас обоих попытку стать друг другу всем. Полгода прожили вместе. Не самые худшие полгода в моей жизни. Расстались друзьями, искренними и настоящими, готовыми помочь, поддержать, подсказать, выслушать, исповедаться или принять исповедь, поболтать о пустяках, обсудить прочитанную книгу, вчерашнюю погоду или проблему взаимного безразличия современных горожан. Нет, не расстались – поняли, что мы просто друзья, не больше, точнее, не меньше. Вернули отношения к единственной возможной в нашем случае форме. Сохранили дружбу и взаимную свободу. И наша связь – не путы, а страховка, как у альпинистов. Не самый распространённый и, считается, сугубо теоретический (хотя и обыденная теория его тоже отвергает) случай.

Я понимаю, что когда-то мужчинам надлежит остепениться, бросить якорь, обзавестись, подобно среднестатистическому большинству, семьёй, детишками, налаженным бытом, собственной сотой в улье. В этом нет ничего плохого. Но это всё совершенно абстрактно; отвлечённые размышления общего порядка, неприменимые ко мне. Традиция – один из часто встречающихся вариантов. А Татьяна? А наши едва зародившиеся отношения? Как обычно? Не хочу забегать вперёд, предвосхищать и материализовать то, к чему совершенно не готов и в

чём не испытываю ни осознанной, ни подсознательной потребности. Я никогда не связывал отношения с женщинами с чем-то, кроме взаимно интересного, приятного и эмоционально обогащающего общения. Символ постоянства, константа семьи (я даже поперхнулся, глотнув воды) не являются ни моими знаками, ни жизненными целями. Когда-нибудь потом, может быть, завтра это изменится. А пока я живу под знаком беззаботной бесконечности. И готов вознести на свой герб и флаг этот символ – замкнутую саму в себе, вытянутую вдоль течения времени восьмёрку, две непрерывных, замкнутых кривых, пересекающиеся в крохотной точке сегодняшнего дня, между моим тёмным вчера и смутным завтра.

Как долго продлятся, какими будут, к чему приведут наши с Татьяной отношения – неизвестно, как и то, какую роль сыграет Татьяна в моей жизни – как обычно, эпизодическую, или на сей раз – главную? Кроме того, я понял, что две наши мимолётные встречи – в замёрзшем аэропорту и оттаивающем парке – стёрли придуманный мной образ Татьяны, а новый, осязаемый и живой, пока не возник. Вопрос времени, и, полагаю, самого ближайшего.

Я задумался и не заметил появления Татьяны. Поднял голову, когда она уже подходила к моему столику. Залюбовался ею и сам себе позавидовал. Ко мне лёгким и уверенным шагом приближалась настоящая наследная принцесса! Наделённая свежей красотой, обаянием, умом, редким в наше время воспитанием и хорошим вкусом.

– Привет! Извини, опоздала! – облако горьковатых духов и прикосновение тёплых губ. – Давно ждёшь?

– Всю жизнь...

– Есть хочу! Je ne mange pas depuis six jours⁹. Что здесь съедобное? Где меню? – она оглянулась в поисках официанта. – Чем нас кормят сегодня в заведении с романтическим названием «Paris»?

– Je pense que madame reste satisfait, – ответил я.

– Je suis mademoiselle, – возразила Татьяна, – и правильно будет satisfait.

– Ah, dîsolî, bien sûr mademoiselle, mon français n'est pas assez bon.

– Oui, vous avez besoin de prendre quelques leçons, – Татьяна улыбнулась и добавила: —И неплохо бы поправить произношение. – Я уже всё заказал. Сейчас буду тебя кормить. Французский завтрак: Фуагра, с игристым от «Ла Шаблизьен», затем фрикасе из телятины с шалотом и шампиньонами, будет подано с «Лафоре», это тоже бургундское, на десерт – крем-брюле, его здесь замечательно готовят, и кофе со сливками.

– Впечатляет, – Татьяна одобрила мой выбор. И, как мне показалось, была приятно удивлена. – Хороший вкус.

– Я старался...

Официант принес ведёрко со льдом, отворил игристое и разлил по бокалам.

– Папа уехал. Я его провожала и потому задержалась. Вообще в нашей профессорской семье это не принято. Хотя, «профессор никогда не опаздывает», так? Но я ведь ничего не пропустила? – Нет, всё только начинается.

– Думаешь, начинается?

– Надеюсь. Всё зависит от нас.

Я поймал её взгляд. Дрогнули ресницы, плавно сошлись, как крылья бабочки, и тут же распахнулись, открыв ясный взор. Она тряхнула головой, словно отгоняя наваждение, улыбнулась и подняла бокал:

– За встречу! – Татьяна не отрываясь, мелкими глотками пила, наслаждаясь колючим и холодным брютом. – Вкусно! А давай возьмём такого же с собой?

– С собой куда?

– С собой к тебе.

⁹ Киса Воробьянинов произносил эту фразу не совсем точно.

– Давай, но... – я не был готов к столь стремительному развитию событий. Даже, кажется, покраснел.

– Что-то не так?

– Всё так... У меня есть «Шато Лафит», впрочем, если хочешь, возьмём бургундское... не будем мешать с бордо. – Я попытался скрыть свою растерянность. Татьяна сделала вид, что не заметила моего замешательства. А в глазах её искрились весёлые, как брызги шампанского, огоньки. Маленькая негодница! Мы принялись за нежнейшую гусиную печёнку в хересе с апельсиновым сиропом.

– А расскажи-ка мне, дружок, о себе? – она склонила голову и улыбнулась, чтобы задать шуточный тон нашей беседе и разрядить обстановку в унисон искристому вину.

– Меня зовут Александр. Друзья иногда называют Алекс, – здесь я подумал, что если ехать ко мне, надо к шипучке что-нибудь прихватить пожевать, дома шаром покати: две пачкипельменей в морозилке и двухнедельной давности сыр. – Немного за тридцать. Не женат. Не свят. Типичный городской житель, который вечно спешит, не высыпается, нервничает, много курит, временами склонен к хандре и одиночеству; иногда любит сходить в гости, чаще всего с целью поесть, а заодно и выпить в хорошей компании. Что ещё... – так, а что ещё? Есть кофе, чёрный бельгийский шоколад (ЭнЗэ как раз для таких случаев), банка консервированных ананасов. Сахар и соль. На этом мысленную инспекцию съестных припасов я закончил в связи с исчерпанием списка. – Редко бывает на свежем воздухе, ещё реже – в отпуске, каждый вечер готов послать шефа к чёрту и подрядиться дворником, а поутру, освежившись хорошим парфюмом, плетётся на работу, понимая, что менеджер по уборке – это как-то на самом деле не тренд. И даже маргинально для человека с двумя высшими... – так, а что у человека с двумя высшими в плане интерьера? Надежда Васильевна приходит убирать по понедельникам и пятницам; да, она была вчера, значит, всё чисто. Уже хорошо. Девушки это сразу замечают. – Любит читать, хороший коньячок и женщин. Иногда со всем этим перебарщивает.

– Именно в этой последовательности – книги, коньяк, женщины?

– Не принципиально. Вместо коньяка сойдёт сингл молт. Соответственно, книгу может заменить театром. Женщина незаменима.

– Эстет... – она посмотрела на меня сквозь бокал с игристым, изогнув бровь.

– Скорее, сибарит...

– А у тебя реально два высших?

– Полтора. Техническое плюс ноль пять экономического.

– А расскажи теперь обо мне? – Татьяна отставила бокал, – только серьёзно...

– О тебе?

– Ты говорил, что думал обо мне, а что думал, так и не сказал. Я хочу знать. Мне это важно.

Появился официант, подал горячее. Сменил вино. Но мы не притронулись ни к еде, ни к «Лафоре». Молча смотрели друг другу в глаза. Я удивился, что Татьяна помнит наш разговор в замёрзшем аэропорту в деталях, несмотря на то, что всё происходило словно во сне. Я тоже ничего не забыл, но со мной-то всё понятно.

– Да. Думал... Я думал, что ещё одной, такой как ты, на свете больше нет. И это очень простая и безжалостная в своей простоте мысль не давала мне покоя. Я ведь совсем тебя не знаю, как же тебя найти? И я искал, но не Татьяну Шустову из плоти и крови, а Татьяну Неведомую, отражение, мираж, придуманный мною образ, идеал, богиню. Искал в других женщинах, в их глазах и голосе, мыслях, касании рук, словах, телах. И находил частицы, очень маленькие, и не всегда. Я думал, что обречён искать тебя в других, но боялся, что в этом поиске больше теряю, забываю тебя, заменяю настоящие, драгоценные стёклышки мозаики фальшивыми. Я боялся, что не найду тебя. Что устану и смирюсь, выберу другую. И выбирал других. Но потом начинал всё снова. Я боялся тебя найти и потерять, если бы оказалось, что ты – это не ты. Я

искал, но не тебя, а отблески, отзвуки той, моей нереальной Татьяны... Вот так, всю жизнь, до этой минуты... – я обозначил коду.

– А теперь? Нашёл? Или потерял? Не разочаровался?

– Нет. Я просто зря терял время. Не нужно было искать тебя в других. Нужно было искать тебя среди других.

– Я соответствую твоему идеалу?

– Да. Во многом – да. Но я не хочу говорить о каком-либо соответствии, ты – живой человек, и ты мне нравишься такая, как есть. А идеал, как стрелка компаса, как звезда, указывает путь и ведёт за горизонт. Быть совершенством, наверное, очень тяжело и к тому же скучно. Кроме того, определение идеала всегда внешнее, и соответствие представлениям другого требует сил и ограничивает свободу. По мне, важнее быть собой. Совпадение с ожиданиями другого пусть будет счастливой случайностью, а не сознательным усилием. Это не роль, которую ты выбираешь из многих, ориентируясь больше на рейтинг, чем на собственное душевное устройство. Воплощение или обретение идеального дарует восторг достижения цели, а дальше? Оставаться и, не дыша, сохранять достигнутое?

Татьяна внимательно слушала но, по-моему, ожидала получить более простой и откровенный ответ.

– Будем есть? – Татьяна взяла приборы. – И пить!

– А ты о себе или обо мне не хочешь рассказать? – я подумал, что наговорил достаточно, и могу рассчитывать на ответную любезность.

– Хочу. Но сейчас не готова. У тебя же было время подумать, а у меня – нет.

– То есть тебе нужно сходить в библиотеку, написать развёрнутый план?

Она подняла бокал, и, чтобы не отвечать, стала медленно потягивать вино, то отстраняясь, то припадая сжатыми губами к тонкому стеклу. Я в ответ пожал плечами: как хочешь. Возникло неясное напряжение. Меня будто по носу щёлкнули.

– Мне нужно понять, и в первую очередь себя. Мы с тобой знакомы совсем недавно, без году неделя, как говорит моя мама. То, что ты так долго обо мне думал, и то, что ты думал обо мне, это... это очень важно. Но... Ты думал не обо мне. Точнее, это была не я. Это была просто картинка, иллюстрация к твоему высокому идеалу, а картинки и слова сказки в книжках вписаны всегда разной рукой, – Татьяна говорила спокойно, медленно, уверенно, не подбирая слова, как будто всё это заранее обдуманно и развёрнутый план давно написан. – Не знаю, насколько я соответствую или буду совпадать с взлелеянным тобой образом. Насколько смогу? Насколько захочу? Твоя Татьяна Шустова – это, как бы сказать, ожидания, представления о том, какой должна быть твоя Прекрасная Дама, а не наоборот...

Слово «мама» обозначило неуверенность и замену собственного опыта мамиными наставлениями? А порыв ехать ко мне? Да ещё прихватив шампанского? Вряд ли подобает Прекрасной Даме... Я подумал, что не надо спешить, успеется. Созданный невероятно давно романтический идеал, о котором откровенно рассказать я постеснялся даже его прототипу, краски и блеск которого освежило безупречное бургундское, требовал другого сценария.

– Ты не веришь в любовь с первого взгляда?

– Я думаю, она существует. Но настоящая любовь – большая редкость, – Татьяна поставила бокал на стол. И продолжила: — Мы с тобой познакомились в этом пилотском кафе... – она замолчала, прикрыла глаза, коснулась тонким пальцем переносицы, словно поправляя невидимые очки: задумчивость. – Ты мне понравился. Сразу. Честно. Всё так... Невероятно. Как в кино. И это состояние, метель, остановившееся время, словно жизнь, как бы поправляя меня, назначила паузу. Я даже подумала, что это знак... Что, пока я не решу всё для себя, самолёты не полетят, солнце не взойдёт и новый день не наступит. И как только я тебя встретила, стрелки часов снова пошли и самолёты полетели. Как будто урок усвоен, и можно пере-

вернуть страницу. Я для себя придумала, нет, решила, что будто бы ты меня спас. Унес из завьюженного Кошеева царства на белом коне... И победил злодейство.

– Какое злодейство? Тебе что-то угрожало?

– Нет, скорее, злодейство было во мне, а ты не дал ему вырваться и стать чудовищем. Так что спас ты народу немало, – она загадочно и нервно улыбнулась.

Я не всё понял про чудовищ и белых коней, попытался припомнить, на чём путешествовал победитель Кошея: то ли на пони, то ли вовсе на сером волке.

При том что Татьяна говорила уверенным и спокойным тоном, в её словах сквозила тревога, может быть, неуверенность, сомнение. Она едва заметно удлиняла паузы между словами и фразами, словно собиралась открыть мне какую-то тайну, но не могла решиться. Наконец она замолчала, так и не выдав тайны, лишь обозначив её присутствие. Может быть, когда-нибудь завтра я получу ключ к её секрету. Лучше – завтра, я не люблю спешить. Однако идеальный и реальный образы Татьяны Шустовой распались на параллельные, смазанные картинки.

Когда мы допили кофе, я спросил счёт и заказал с собой бутылку «Шаблизьена», но Татьяна остановила официанта: «Вино не надо». Посмотрела на меня и сказала: «Я пошутила». «Или передумала? В любом случае, хороший поворот! Под штангу!» – подумал я, но попытался сделать вид, что понял всё сразу и просто поддерживал её игру...

– Машина ждёт тебя у выхода? – спросил я, не удержавшись от капли яда в словах. И тем выдал себя.

– Обиделся? – Татьяна изобразила виноватую улыбку. Затем поманила официанта и велела вызвать такси. – Проводишь меня? – Провожу. А папа действительно в отъезде?

– Папа действительно.

Я отвёз её домой. Мы простились у ворот дома профессора Шустова. Она торопливо чмокнула меня в щёку и тихонько прошептала: «К тебе поедем в другой раз... Обязательно поедем... Я обещаю».

(из тетради Августа П)

I:24

История моей пустыни берёт начало в далёком прошлом, в юности, на которую я оглядываюсь с улыбкой и лишь иногда – со вздохом, но не сожаления, нет, а со вздохом, полным лёгкой грусти и нескольких мимолётных нот ностальгии.

В те далёкие годы обычный набор юношеских комплексов, помноженный на огромное количество бессистемно прочитанных книг модных философов, и максимализм, граничащий с бескомпромиссным нигилизмом молодости, доводили меня до исступления в бесконечных спорах с самим собой и окружающими. Я бросался в крайности от идеалистической, заоблачной филантропии до безжалостной и всеокрушающей антропофобии, то есть, конечно, мизантропии, то возвеличивая человечество, пылая любовью к ближнему своему, то проклиная весь мир за безразличие, глупость, корысть, похоть, злобу, эгоизм. Мои обобщения были абсурдны, однако в порыве почти библейской любви или лютой ненависти к потомкам Адама я не замечал очевидного. Я делил весь мир на «Человеков» и «Организмов», раскрашивая красным и серым. Мешал содержимое заздравного кубка и чаши с цикуттой и залпом пил, хмеля от дьявольской смеси эмоций и рассудка.

Я не религиозен, не научился медитировать, практики йоги мне также незнакомы. Я обо всём этом, конечно, читал, осиливая в лучшем случае по несколько десятков страниц в пяти-шести тематических трудах, но отклика в моей пугливой и недоверчивой душе эти путаные строки не находили. Кроме того, религия и духовные практики требуют полнейшего отказа от

своего «Я», нечеловеческого смирения, слепой веры и принятия логически необъяснимых слов, мыслей и указаний. Переход разума в иные миры. Я убеждённый противник любых проявлений фанатизма, как минимум. А без фанатизма в этом деле – никуда.

Отчаявшись достучаться до человечества, в надежде спасти наш гниущий мир, я начал строить свой собственный, обнесённый глухой стеной затворничества. Стену я возвёл, но наполнить мир не успел – долго выбирал: что брать и спасать, а чему во благо будет погибнуть. Возникло разрастающееся множество предметов, одновременно попадавших в оба списка, спасаемого и обрекаемого. Тем временем стена стала давать трещину за трещиной, ровные и острые грани её начали скругляться под действием разрушающего влияния того, что называют житейской мудростью. Мои былые категоричные суждения стали мягче, мир там, за стеной, перестал быть двухцветным, начал приобретать новые цвета и оттенки. Эти изменения, происходящие во мне помимо моей воли, казались мне предательством самого себя, своих идеалов и тех немногих, кто разделял мои взгляды. Это было мучительно. Я бросил сочинять стихи. Едва не покончил с собой. Но остановить падение было уже невозможно. Однако большая часть стены устояла и стала историей, страницей моей личностной летописи, подобно античным руинам, в память, назидание, укор.

А я ушёл в пустыню. Придуманную мной в надежде на спасение, в надежде убежать от соблазнов, от людей, больных проказой серости и летальной обиденности. Мне не хватало свободы. Мне не хватало воздуха. Затхлая атмосфера моего мирка, из дворца свободы превращающегося в её темницу, подтачивала силы и грозила мучительной смертью идеалам юности. Я ушёл в пустыню одиночества, чтобы утратить рабские стадные рефлекссы, заброшенные в меня окружающим коллективистским миром, состоящим из множества социальных общностей, групп, пересекающихся и строго параллельных. Выйти из круговорота, в котором песчинку индивидуума воздушными или морскими течениями переносит из одной общности в другую, иногда несколько раз в день. Я шёл и чувствовал себя волхвом, который бежит суетного мира, полного соблазнов. Я без печали простился с окружающими.

Я укрывлся в безмолвной пустыне одиночества. Где нет времени, только пространство, где над бескрайними просторами выжженной бесплодной земли – бездна въцветшего неба. Где можно безоглядно и безнаказанно быть собой. Где не нужно вписываться в рамки и быть любезным. Где созерцание окружающего и находящегося внутри – единственный способ действия. Но и это тоже прошло. Пустыня стала не нужна. Но сохранилась на дне засыпанного колодца потаённого и интимного. На дне самого себя. В потёмках души. Как затерянная при переезде вещь, постфактум утратившая былую ценность и найденная после того, как её место уже занято, списанная в хлам и помещённая на пыльный чердак. Моя пустыня потеснилась под натиском изменившейся жизни и трансформировалась, принимая форму теперешнего меня, перестала быть единственным способом противостояния меня и мира вокруг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.